

Жажда боли

Автор:

[Эндрю Миллер](#)

Жажда боли

Эндрю Д. Миллер

Это книга о человеке, неспособном чувствовать боль. Судьба приговорила его родиться в XVIII веке – веке разума и расчета, атеизма, казней и революций. Движимый жаждой успеха, Джеймс Дайер, главный герой романа, достигает вершин карьеры, он великолепный хирург, но в силу своей особенности не способен сострадать пациентам... Роман Эндрю Миллера стал заметным событием в литературной жизни Великобритании, а переведенный на многие языки планеты сделался мировым бестселлером. Его заслуженно сравнивают со знаменитым «Парфюмером» Патрика Зюскинда.

Эндрю Миллер

Жажда боли

Моей семье

Получил ли от жизни ты все то, что хотел?

Получил.

Чего же хотел ты?

Зваться любимым и ощущать, что кем-то любим.

Реймонд Карвер

«XVIII век – всего лишь декорация для интеллектуального романа о природе человеческой боли».

Kirkus Review

«Дебютный роман Эндрю Миллера, заслуженно получивший несколько высших британских литературных наград».

Library journal

«Миллер пишет тонкую, сильную прозу, густо нашпигованную картинками, звуками и запахами. Его необычные и яркие образы вызывают восторг».

The New York Times Book Review

Глава первая

1772

1

Жарким августовским днем, обрамленным грозowymi тучами, трое мужчин пересекают конный двор неподалеку от деревни Кау в Девоне. Идут они в каком-то странном порядке: двое, что помоложе, точно герольды или стражи, важно шествуют впереди хозяина и будто тянут его за собой – одетого во все черное, с покрасневшим лицом – на вожжах невидимой упряжки. В руках один из гостей держит кожаный мешок, из коего, по мере их приближения к дверям конюшни, доносится приглушенное звяканье.

Дверь, чуть помедлив, открывает пожилой хозяин и отходит в сторону, пропуская вперед двух других. Медленно и осторожно ступая в окружающей темноте, все трое заходят внутрь. Конюшня чисто подметена. Запах лошадей и сена, кожи и навоза смешивается с ароматом жженой лаванды. Несмотря на жару, труп не издает неприятного запаха. Пастор задумывается: быть может, Мэри знает секрет сохранения плоти. В стародавние времена боги не давали зловонию осквернять тела павших героев, пока не завершались посвященные умершему состязания воинов и не возжигались погребальные костры. Наверняка и по сию пору существуют какие-то способы. Мази, заклинания, особые молитвы. На табурете у стола сидит Мэри. При их появлении она встает – складная, приземистая фигурка, окруженная играющими, словно роскошные перья, тенями.

– Я говорил тебе, что мы придем, – обращается к ней пастор. – Эти джентльмены, – он указывает на своих более молодых спутников, – доктор Росс и доктор Берк. Господа, это Мэри.

Она смотрит мимо пастора, но не на Берка и не на Росса, а на мешок, что Росс держит в руке.

– Это доктора, – повторяет пастор совсем тихо. Ему хочется назвать ее «милочка», но хотя, судя по ее виду, она гораздо его моложе, пастору представляется, будто она неизмеримо старше, и даже не просто старше, а словно бы принадлежит иному веку, иному бытию – родня скалам и вековечным деревьям.

Мэри уходит – даже не тихо, а вовсе беззвучно. Глядя на Росса, Берк одними губами произносит: «Ведьма». Делая вид, что проверяют, застегнуты ли у них на жилетах пуговицы, доктора незаметно осеняют себя крестным знаменем.

– Пора начинать, – говорит Берк, – иначе придется возвращаться домой в грозу. Ваше преподобие, есть ли у вас лампа?

Лампу находят, ее принесли сюда вместе с телом. Пастор зажигает ее трутницей – тук-тук, стучит кремь о сталь – и передает Россу. Росс и Берк подходят к столу, на котором в шерстяной ночной рубашке до пят, вытянувшись, лежит Джеймс. Его волосы, что были почти совсем седыми, когда он впервые появился в доме священника, за последний год потемнели. Мэри вымыла их, напмадила, расчесала и завязала темной лентой. Он не похож на спящего.

– Великолепное тело, – говорит Берк. – Прекрасный образец.

Под скрещенными руками Джеймса лежит книга в потертом кожаном переплете. Выдернув ее, Берк смотрит на корешок, ухмыляется и передает пастору, который и без того уже понял: «Путешествия Гулливера». Всего-то неделю или две назад Джеймс взял ее почитать у него из кабинета. Кто положил ее сюда? Сэм? Мэри? Нужно будет отдать Сэму, если тот захочет. Должно же что-то остаться у мальчика на память.

Росс обнажает тело и бросает рубашку на пол. Достает из мешка и передает Берку нож, тот внимательно осматривает лезвие и удовлетворенно кивает. Положив руку на подбородок Джеймса, Берк разрезает туловище от верха грудины до точки чуть выше лобковых волос. Затем делает разрез под ребрами, так что получается перевернутый крест, влажный, кроваво-красный. Он останавливается, чтобы вынуть из жилетного кармана футляр, и, моргая, водружает на нос очки. Что-то бормочет, приостановив дыхание, потом берет надрезанный кусок кожи и жира и начинает отделять его от мышц. С помощью ножа он пытается отслоить его от остальной плоти. Руки у него мускулистые, как у моряка. Росс держит над ним лампу. Коротенькой палкой, подобранной по дороге от дома к конюшне, он тычет Джеймсу в кишечник.

– Не желаете ли подойти поближе, ваше преподобие? С вашего места, думается мне, плохо видно.

Пастор делает несколько шаркающих шагов вперед. Берк внушает ему омерзение.

– Его преподобие более интересуется невидимый обитатель дома, нежели сам дом, не правда ли? – вступает в разговор Росс.

– Именно так, сэр, – соглашается пастор Лестрейд.

– А теперь – сердце! – призывает Берк.

И доктора начинают раздирать грудь, распиливая ручной пилой ребра, и, орудуя скальпелем, продираются сквозь крупные сосуды. Они явно возбуждены и сияют, точно два белоснежных яйца. Скоро появится доклад, адресованный медицинским обществам и прочим просвещенным кругам: «Некоторые соображения... гм... касательно феномена покойного Дж. Дайера. Исследование... любопытного и замечательного... который до достижения им двадцати с чем-то... был нечувствителен... не ведал... абсолютно лишен всякого ощущения... чувства... представления о... боли. С доказательствами, иллюстрациями, экспонатами и прочим».

Пастор отворачивается и смотрит во двор – две птички клюют зернышки на навозной куче. Далее, в стене, у которой он выращивает турецкую гвоздику, видна зеленая дверь, ведущая в сад. Эта дверь ассоциируется у него с Джеймсом – он, бывало, выходил из нее и разглядывал груши или просто стоял во дворе, нахмурившись, словно не мог вспомнить, зачем пришел.

Звуки, подобные чавканью сапог по грязи, отвлекают пастора от воспоминаний. Росс достал и теперь держит в руках разорвавшуюся сердечную мышцу Джеймса Дайера. У него такой вид, думает пастор, словно он сейчас с удовольствием бы ею полакомился, только вот немного неловко. Берк вытирает о тряпку руки и вынимает из кармана сложенную газету. Расправив газету на бедрах Джеймса, берет из рук Росса сердце и кладет на нее.

– Если вы не возражаете, ваше преподобие...

Берк заворачивает сердце и прячет в мешок.

– Не возражаю, сударь.

В сердце покойника нет ничего священного. Пусть себе копаются. И опять, в который уже раз, он вспоминает ту, другую, но в чем-то схожую картину, когда Мэри стояла над Джеймсом в их покоях на Миллионной, слегка повернув голову на звук дыхания пастора, недвижно застывшего в дверях рядом с молоденькой горничной. Затем, понимая, что он не захочет, не сможет вмешаться, Мэри перевела взгляд на Джеймса – спящего ли, одурманенного ли? – расстегнула ему рубашку и обнажила грудь. В комнате было темно, лишь одна свеча горела у окна. И все-таки пастору удалось кое-что разглядеть: рука Мэри словно резала Джеймса, не оставляя, однако, никакого следа, будто она сквозь тонкую пенку опускалась в молоко.

– Ваше преподобие?

– Сударь?

– Вы пропускаете интереснейшие вещи. Теперь желчный пузырь.

– Прошу меня извинить. Я... предался воспоминаниям. О докторе Дайере. Мы были вместе в России.

– Вы уже упоминали об этом, сэр. Причем не однажды. Подобные воспоминания вполне естественны, хотя и приводят к излишней чувствительности, чувствительность же – вещь, достойная восхищения в человеке вашего сана, однако недопустимая роскошь для людей нашего рода занятий. Вы должны смотреть на эти останки не как на вашего бывшего... не как на человека, которого вам некогда довелось знать, но как на исходный материал для освященного наукой философского исследования.

– Телесная оболочка, – подпевает Берку доктор Росс, отрывка которого, что поразительно, содержит безошибочно узнаваемый среди прочих ароматов конюшни едкий запах портвейна и лука, – таящая в себе загадку.

Пастор внимательно смотрит на них. Оба доктора скинули сюртуки, засучили рукава и стоят с обагренными по локоть руками, точно герои какой-то абсурдной трагедии в духе Сенеки. Забрав у Берка нож, Росс обходит стол и приближается к голове Джеймса, быстрым жестом делает надрез сзади, за волосами, и, прежде чем пастор догадывается о том, что сейчас случится, отдирает от черепной кости волосы вместе с кожей и кладет на лицо покойника эту

непотребную кровавую массу. Горячая и кислая слюна наполняет горло Лестрейда. Он сглатывает и быстро выходит из конюшни, пересекает двор и через зеленую дверь попадает в сад. Дверь захлопывается.

Перед ним плавный подъем до самой кромки древнего леса. На просторе пасутся овцы, и какой-то мальчик идет в прохладной тени вдоль лесной опушки. Все это сейчас кажется пастору прекрасным обманом, хотя и вызывает чувство благодарности. Обман этот нужен ему точно так же, как маленькие разрисованные ширмы, которые, как рассказывают, держат итальянские священники перед глазами осужденных на казнь преступников, дабы скрыть от них приближающийся эшафот. Пастор никак не возьмет в толк, как умудрились эти двое, Берк и Росс, его одурачить, хотя они вроде бы внушали доверие, он был осведомлен об их высокой репутации и прочел рекомендательные письма. Да и самому ему стало любопытно – а что, если тело Джеймса приоткроет завесу тайны вокруг его жизни. Ему представлялось, что вся процедура будет проведена бескровно и уважительно. На деле же получилось, что он отдал своего друга в руки мясников и безумцев. А если бы она увидела все это? Ведь она где-то в доме, бог ведает чем занимается – пастор никогда толком не знал, как она проводит время. А вот остальные слуги, хоть поначалу ее и боялись, теперь гордятся, что живут с ней под одной крышей. Она их лечит. Например, способна унять головную боль, надавив страждущему на лицо.

Заскрипели дверные петли. Пастор оборачивается. Под погодным камнем стоит Мэри и протягивает ему деревянный ящичек. Появление ее именно в эту минуту неприятно, как будто она прочла его мысли. А что того хуже, пастор замечает у себя на пальцах кровь. Поспешно спрятав руки за спину, он спрашивает:

– В чем дело? Что-нибудь случилось?

Мэри открывает замочек ящика и поднимает крышку. «Ах да, – припоминает пастор, – игрушка». Он хотел бы оставить ее себе. Ведь именно он и никто другой привез ее из Петербурга с остальными пожитками Джеймса, когда тот исчез. Погиб, решили они тогда.

– Возьми ее себе, Мэри.

Женщина глядит на него, медленно кивает, закрывает ящик и уходит назад в дом.

Доносится слабый звук пилы. Когда наконец он стихает, его преподобие возвращается в конюшню, моля Бога, чтобы все уже миновало, чтобы он мог отослать этих двоих восвояси. Он не пригласит их в дом. Пусть наберут ведро из бочки с дождевой водой и моются во дворе. А Джеймса пусть зашьют как подобает, вандалы! Киллик положит тело в гроб. А завтра в полдень его предадут земле. Наверное, Кларк уже копает могилу – у стены рядом с фруктовым садом Мейкина.

– Обнаружили что-нибудь, джентльмены? Хоть что-то? – Пастор пытается говорить высокомерно, но у него это плохо получается; он слишком раздражен.

Берк поднимает голову. Дюжина мух роится над ведром, стоящим в конце стола под раскученной головой Джеймса.

– Ничего, – отвечает Берк, – что я мог бы объяснить человеку, не сведущему в искусстве анатомии.

– Какая жара, да еще паразиты... Он ведь был с вами одной профессии. Надеюсь, вы уже закончили свое исследование?

– Не волнуйтесь понапрасну, ваше преподобие, – говорит Берк. – Идите к себе. Близкие отношения с покойным действуют на вас угнетающе. Вам тяжело. Лучше бы вам пойти к себе, да-да... и принять легкое слабительное. К примеру, ревеня.

– Или плод колоцинта, – добавляет явно оживившийся Росс.

– Колоцинт хорош, – поддакивает Берк. – Или можно попробовать немного бересклета – *euonymus atropurpureus*, коли он есть у вас под рукой. Человеку вашего склада это никогда не повредит. Вы согласны со мной, доктор Росс?

– Превосходное очищающее средство, доктор Берк. Не сомневаюсь, что бедняга Дайер сам бы его порекомендовал.

– Мы сообщим вам о наших разысканиях.

Световой блик на очках Берка дрожит в воздухе злобным огоньком. Помедлив, пастор отвечает: «Я буду в кабинете» – и удаляется шаркающей походкой, почти не чувствуя стыда от навалившейся вдруг усталости.

2

Двор весь сияет: в лужицах, появившихся после грозы, отражаются звезды. Пастор закрывает дверь конюшни и пересекает двор. Там, в конюшне, Мэри осталась сидеть с Джеймсом. Перед уходом Берк и Росс более или менее подштопали тело, а пастор вместе с господином Килликом еще в сумерках уложили его в гроб и приколотили крышку. Киллик, добрый человек, помог отмыть и вычистить конюшню и разбросал вокруг свежую солому и пригоршни сушеной травы. Когда появилась Мэри, в конюшне уже можно было дышать, дневной кошмар отступил, оставив на столе лишь несколько коричневых, похожих на чайные, пятен, кои прикрыли тряпкою.

Утомленный, но впервые за этот день с легким сердцем, пастор бродит по саду. Сад у него небольшой, и хвастаться особенно нечем, однако мало что в своей жизни он любит так же сильно и беззаветно. Пожалуй, сестру Дидо, но только если она не мучает его своими требованиями заменить панельную обшивку на что-нибудь более современное и не читает ему мораль по поводу его платья и привычек, с удовольствием сравнивая его с бедным деревенским викарием, открывшим питейное заведение.

Свою покровительницу леди Хэллам? Она постарела. Какой огромный у нее бюст и какая это, должно быть, тяжесть! Но по-прежнему милый нрав и светлый ум. Не зря им были сочинены все эти сонеты, не впустую пропали часы, проведенные над покрытым кляксами листом бумаги, когда он тщился соблюсти должный размер, подобрать рифму, не вовсе лишенную смысла. Полдюжины стихотворений, думается, неплохи, а всего-то их было написано сто или двести. Конечно, следует их сжечь на будущий год или года через два и уж тем более – случись что со здоровьем. Ему невыносима сама мысль, что их прочтут посторонние – толстый приходской священник из Кау, вздумавший фамильярничать с леди Х.

Он подходит к своему пруду, шлепает по воде ладонями, посылая рябь по поверхности, и ниточки света кругами расходятся к берегу. Чистые, бескровные создания. А если миссис Коул приготовит их по своему рецепту, то лучшего кушанья на золотом блюде не найти даже во дворце епископа. Вскорости надобно ожидать приглашения во дворец в Эксетере. Ему вежливо, но настойчиво предложат удалить Мэри из дома. Пока Джеймс был жив, ее присутствие воспринималось как благодеяние по отношению к доктору. Но теперь присутствие такой женщины – такой странной женщины – в доме неженатого слуги церкви...

Наклонившись, пастор опускает пальцы в воду, с интересом разглядывая темный круг – отражение своей головы. В окне гостиной движется свет. Пастор встает и подходит поближе к дому. Шторы не опущены, и он видит, как Табита зажигает в канделябрах свечи. Большая, сильная, грузная девица, мужеподобная и некрасивая, правда с пышущим юностью и здоровьем лицом. Первый месяц пребывания в доме у пастора ее мучили ночные кошмары, она страдала недержанием мочи, тоскливо слонялась по дому с красными глазами, роняя рюмки, и была не в состоянии выполнить даже самые простые распоряжения. У пастора состоялся тяжелый разговор с экономкой миссис Коул, которая пригрозила уехать к сестре в Тонтон, если Табита останется в доме. «В Тонтон, ваше преподобие, в Тонтон», – повторила несколько раз миссис Коул, как будто этот город находился где-то далеко за Босфором. Но кошмары прошли, девушка научилась работать, а зимой даже спала вместе с миссис Коул в одной кровати. Экономка прилеплась к ее спине, как мох к теплему камню. Пастору подумалось, что он и сам бы не прочь так поспать.

Он вдыхает последнее дуновение ночного воздуха, входит в дом, задвигает засовы и проходит в гостиную. Табита с подносом в руках, на котором стоят рюмки на длинных ножках, вторые по качеству среди его посуды, вздрагивает, словно перед ней предстал сам Сатана, собирающийся откусить от нее кусочек повкуснее. Пастора раздражает это ее вечное вздрагивание. Секунду они смотрят друг на друга, но потом он вспоминает, как искренне она плакала, узнав о смерти Джеймса. Добрая душа.

– Идешь спать, Табита? – спрашивает он. – Устала?

– Ни очень, сэр, но ежели вы хотите поссету[1 - Поссет – горячий напиток из молока, сахара и пряностей, створоченный вином. – Здесь и далее примеч. переводчика.] или чего еще. Мой дед всегда пил перед сном поссет.

- Твой дед в добром здравии?

- Нет, сэр, - она радостно улыбается. - Однажды упал в огонь и помер. А человек был веселый. Ну, раньше-то.

Воображение пастора рисует старика, охваченного пламенем, пару кривых ног, именно кривых, похожих на металлические щипчики для снятия верхушки яйца. Нечто с картины Босха.

- Я ничего пить не буду, дорогуша. Посижу немного. Может быть, почитаю.

Табита кланяется, пастор замечает ложбинку у нее на груди, снова нервничает из-за рюмок. Уже в дверях она спрашивает:

- А можно мне завтра на похороны? Пустите? Миссис Коул сказала, надо спроситься.

- Конечно. Я бы хотел тебя видеть. Тебе он нравился?

- Боже правый, сэр. Я уже вся соскучившись. А вы, сэр?

- И я тоже. Очень.

- Уж так-то соскучившись. - Она останавливается и облизывает губы. - Я хотела кой-чего спросить у вас, да только миссис Коул не велела.

- Ну спроси, я разрешаю.

- Так это, что ли, чудо было, когда доктор Джеймс... ну, доктор Дайер, когда он спас того негра?

- Боюсь, Табита, в наш век чудес не бывает.

Она разевает рот, как будто пастор сказал что-то чрезвычайно важное, потрясшее ее до глубины души.

– Что ж такое это было, коли не чудо?

– Врачебное искусство.

– А тот зовет себя таперича Лазарем, сэр, я про черного-то.

– А как он звался раньше?

– Удивительный Джон.

– Это мне больше нравится.

Оставшись один, пастор стягивает парик и энергично чешет затылок. Мотылек, который, как вспоминается пастору, залетел сюда вчера вечером, порхает вокруг свечи и садится на зеркало. Крылышки у него окрашены как древесное волокно, и на каждом по пятнышку, похожему на глазок. Хитра мать-природа.

Из застекленного шкафчика его преподобие достает графин и рюмку, наливает припрятанный коньячок и осушает рюмку одним глотком. Поставив ее на каминную полку, берет оттуда свечку и выходит в коридор, прикрывая пламя рукой. Его кабинет, небольшая, тесно уставленная мебелью комната, выходит окнами на другую сторону, в ней витают запахи чернил, сладкого табака и книг. Свечку он помещает на край своей конторки, или, как ее называет Дидо, «экритуара». Там полно бумаг. Письма, частные и деловые, и счета: колесному мастеру – фунт и восемнадцать шиллингов; за присланные из Лондона серебряные ложки – десять фунтов – чудовищная сумма! Это расходы, а что до доходов, то тут лишь расписка на десять шиллингов и шесть пенсов от приходского казначея за венчание арестанта и беременной женщины. Здесь же вперемешку заметки для будущей проповеди, три гусиных пера, поднос с песком, лезвие и закупоренная бутылочка чернил.

Он поднимает свечку и освещает ряды книг, задерживаясь возле своих любимцев и ласково поглаживая корешки. Потрепанный Гомер, сохранившийся еще со времен учебы в школе латинской грамматики, изданные Колие труды Марка Аврелия, принадлежавшие отцу пастора. «Путешествие паломника» с иллюстрациями, купленное на Бау-лейн во время первой поездки в Лондон. Соблазнительно двусмысленный Овидий, подаренный университетским приятелем, повесившимся на другой год. В жестком черном кожаном переплете

двухтомник Мильтона, еще один подарок, на этот раз от леди Хэллам по случаю назначения пастора в здешний приход, ценимый им более за прелестные завитки написанного ею посвящения, нежели за стихи поэта. Вольтеров «Кандид», сразу же напомнивший пастору смуглое умное личико месье Абу. Филдинг, Дефо. Почти не читанный фолиант «Весь долг человеческий» Аллестри[2 - Аллестри, Ричард (1619–1681) – английский богослов, проповедник и философ, автор религиозных трактатов.]. Проповеди Тиллотсона[3 - Тиллотсон, Джон (1630–1694) – английский богослов.].

Отвернувшись, пастор открывает стоящий рядом с конторкой сундук, достает оттуда холщовый мешок, сует его под мышку и спешит назад в гостиную под содрогающийся бой часов – десять. Поставив мешок, снимает сюртук и бросает его на кресло. Оборотясь спиной к каминной решетке, он, как всегда, оказывается лицом к лицу со своим отцом, преподобным Джоном Лестрейдом из Луна в Ланкашире. Портрет весьма посредственный – сияющий плоский овал лица на коричневом лакированном фоне, точно лунное отражение в грязном пруду. Они обмениваются обычным вечерним приветствием.

Пастор силится вспомнить, что известно ему об отце Джеймса. Фермер, это он знает почти наверное, но вот крупный или мелкий – не помнит. О матери же сведений и того меньше. Как-то раз проскользнул слабый намек на то, что она умерла молодой. Что таится за подобной скрытностью? Уклончивость человека, добившегося всего своими силами? Некое сомнение, едва уловимый вопрос, касающийся его истинного прародителя? Ох, сколько вопросов хотел бы он задать тому бедняге, что сейчас лежит в конюшне с раскроенным черепом! Многого должна знать Мэри. Пастор давно уже хотел разобраться с петербургскими вещами Джеймса. Быть может, остальное как-нибудь и откроется.

Пастор немного облегчает желудок, выпустив в камин газы. И тут же ему хочется продолжить. Чем он и решает заняться, порядочно насладившись переживаемыми ощущениями: придвигает ночной горшок в закрывающемся стульчаке, достойнейший предмет мебелировки, основательный, как церковная кафедра, и устанавливает его так, чтобы свет падал сзади. Широким жестом снимает штаны, поднимает обитую тканью крышку и усаживается на деревянный стульчак в форме литеры «О». Теперь надобно взяться за разбор холщового мешка, а потому пастор наклоняется вперед и подтаскивает его поближе. Мешок перевязан длинным шнурком. Развязав его, пастор просовывает внутрь руку. Первое, что он нашаривает, это другой мешок, поменьше, тоже из

промасленной холстины, скрученный, как небольшое бревнышко. Пастор вытаскивает его и раскладывает на своих безволосых бедрах.

Мешок развязан и раскрыт. Сложенные в нем инструменты при свете свечи как будто проснулись от спячки. Скальпели, ножницы, ручная пила, иглы и другие предметы, о названии и назначении которых пастор может только догадываться и которые, похоже, были созданы с единственным намерением вселять ужас в несчастных пациентов. Пастор берет самый длинный скальпель, заточенный с обеих сторон и все еще очень острый. Да, это тот самый скальпель, которым Джеймс оперировал несчастного фореитора; не случись рядом Джеймса с его твердой рукой, фореитора пришлось бы похоронить в монастыре. А вот и изогнутое зеркало, величиной не более детской ладошки. Впервые пастор увидел его вечером того дня, когда они добрались до монастыря, и Джеймс, прикрепив зеркало к свечке, смотрел в него, зашивая рану на собственной голове. С тех самых пор инструментами этими никто не пользовался, хотя, когда Джеймс оказался в доме у пастора и вновь обрел свое «я», тот предложил вернуть ему их. Но Джеймс не захотел.

Его преподобие аккуратно сворачивает мешочек и кладет на пол. Вновь запускает руку в большой мешок и достает связку документов, волей-неволей быстро припрятанных в последний раз, когда он их разбирал. Что уж греха таить, он копался в мешке не однажды, но со смертью Джеймса его содержимое обрело некую особую значимость. Завтра, когда покойника предадут земле, все эти предметы превратятся в немногочисленные свидетельства того, что Джеймс действительно жил на этом свете. Бумаги, которые пастор сейчас рассматривает, поднося к самому носу – очки остались в кармане кафтана, а ему очень не хочется прерывать непростой процесс дефекации, – представляют собою различные удостоверения, по большей части, а может, и все без исключения, фальшивые.

Первый и самый красивый сертификат – парижский, из отеля «Дьё». Снабжен тремя черными печатями, лентой в пол-ярда и замысловатой подписью, не поддающейся расшифровке. Его преподобие вполне уверен, что во Франции Джеймс никогда не учился. Другой, внушающий больше доверия, – из больницы Святого Георгия в Лондоне; в нем значится, что Джеймс Дайер изучал анатомию и *materia medica*[4 - Медицинскую науку (лат.)]. Третий выдан Обществом корабельных врачей и удостоверяет, что Джеймс может служить помощником корабельного врача на кораблях шестого ранга флота его величества. Датировано 1756 годом. Джеймс был тогда совсем юнцом. Есть еще одна

вещица, относящаяся к тому же времени. Ее-то сейчас и достает из мешка пастор – табакерка с крышкой из слоновой кости и надписью в основании: «Манроу. Корабль его величества “Аквилон”». Пастор открывает табакерку и принюхивается. И хотя столько долгих лет она была пуста, в ней до сих пор сохранился резкий запах, который, поднимаясь, доходит через нос до мозга его преподобия и оказывает на него такое стимулирующее воздействие, что в тени у окна ему тут же начинает мерещиться фигура Манроу, с виду такого нерешительного, словно вызванного медиумом на спиритическом сеансе.

Пастор захлопывает табакерку, бросает ее в мешок и тихонько выпускает газы в эмалированную посудину. Еще один документ, не удостоверение, а рекомендация, весьма примечательная, ибо здесь подпись разборчива – Джон Хантер, настоящий Александр Великий среди хирургов, который полагает, что Джеймс «много преуспел в лечении открытых и закрытых переломов, а также ушибов и владеет искусством ампутации и наложения повязок». Это звучит примерно так, думает пастор, как ежели бы архиепископ Йоркский написал, что я отличаюсь особенным благочестием и являюсь примерным поводырем своей паствы.

Последнее свидетельство, писанное по-французски на великолепной веленовой бумаге, хотя и изрядно помятой. Аккуратный ровный почерк с изысканными завитушками на буквах «F» и «Y», работа секретаря русского посольства. Подписано послом и украшено печатью с императорскими орлами. Охранная грамота Джеймса, в которой он именуется «Un membre distingue de la fraternite de medecine anglaise»[5 - Выдающийся член братства английских врачей (фр.)].

В мешке осталась лишь одна маленькая книжечка. Он так много рассчитывал узнать, когда увидел ее впервые, да и теперь соблазн чрезвычайно велик. Нет сомнений, что это своего рода дневник, что же еще? Но вся книжка исписана каким-то шифром или стенографическими знаками, и пастор, несмотря на неоднократные попытки, так и не смог ничего разобрать. Даже рисунки не поддаются разгадке; невозможно понять, что это – схемы или наглядные иллюстрации хирургических операций, а может, и вовсе чепуха, линии, не имеющие ни малейшего смысла. Лишь одно понятное слово стоит на самой последней странице – Лиза. Давняя любовь? Да и была ли у Джеймса вообще давняя любовь? Лиза. Этому тоже суждено остаться тайной. В полудреме пастор размышляет, не окажется ли и его жизнь такой же книгой, написанной на языке, который потом никто не сможет понять. Кто будет сидеть у огня и разгадывать ее, думает он.

Процесс опорожнения приостановился. Несмотря на громкие предвестники удачного исхода, горшок пуст. Затраченные усилия утомительны, к тому же ему следует поостеречься излишнего напряжения. Негоже кончить свою жизнь подобно никем не оплакиваемому Георгу Второму. Сон подступает, и пастор закрывает глаза. Словно в табачном дыму, перед ним возникают лица Берка и Росса. А следом и других – Мэри, Табиты, Дидо, но не Джеймса. Часы отмеряют движение ночи. «Что же я скажу завтра, – думает пастор. – Что же скажу? Что скажу?..»

Из разжатых пальцев с гладкой неровной поверхности его бедер падают на пол бумаги Джеймса Дайера. Мотылек обжигает крылья, пастор храпит. Из конюшни, достаточно громко, так что слышно через открытое окно в комнате Дидо, которая стоит, обливаясь слезами, доносится пение, хрипловатое и монотонное, на неизвестном чужеземном наречии, полное беспросветной тоски.

Глава вторая

1771

1

Трижды в год преподобный Лестрейд и его сестра делают себе кровопускание. Это своего рода ритуал, вроде копания клубничных грядок в октябре или с каждым разом все более утомительных поездок в Бат в мае, которые придают году законченность и определенность и при отсутствии которых неизбежно возникает ощущение некоей неудовлетворенности. «Кровопускание, – любил говаривать отец пастора, а теперь, в свою очередь, любит объявлять и он сам, скорее ради удовольствия повторять слова отца, нежели побуждаемый искренним убеждением, – очень полезно мужчинам и лошадям. Также оно полезно практичным и сухопарым женщинам».

Обычно эту процедуру производит доктор Торн, человек вполне компетентный. Но на этот раз приехать он не сможет, поскольку недавно упал с лошади,

угодившей ногой в заячью нору.

- Почему бы не обратиться к Джеймсу Дайеру? – спрашивает Дидо, закрыв книгу и протягивая руки к вечернему камельку.

Его преподобие постукивает о зубы черенком своей трубки.

- Нет, сестрица, думаю, это не лучший совет.

- Полагаю, ему уже приходилось видеть кровь.

- Конечно, – отвечает пастор. – Может быть, даже слишком много крови.

- Ну, если Торн не может приехать, а доктора Дайера ты попросить боишься, хоть он и пользуется нашим гостеприимством, я сама отворю себе вену. А если не смогу, то попрошу Табиту.

С деланным простодушием пастор спрашивает:

- Неужели доктор Дайер злоупотребил твоим гостеприимством, сестрица?

- Вовсе нет. Не злоупотребил. Ты, как всегда, неправильно меня понимаешь, Джулиус. Это так досадно! Мне потому и приходится делать кровопускание, что ты постоянно меня изводишь.

- Как же я извожу тебя, сестрица?

- Ты противоречишь любому моему желанию.

- Например, купить ложки?

- Ох, какая нелепость, ложки! Да, ложки. А теперь еще и это.

- Ты могла бы и сама его попросить.

– Могла бы. А еще могла бы прогуляться до кабака Сэкстона и опорожнить там бутылочку рома, – с этими словами Дидо встает, и платье ее шелестит, будто живое существо. – Доброй ночи, братец.

– И тебе доброй ночи, сестрица.

С высоко поднятой головой она выходит из гостиной. Уже добрых двадцать лет, думает пастор, он не может взять над нею верх в споре.

* * *

Луна в последней четверти, появляется на небе в десять часов и тридцать минут. Его преподобие спит и видит во сне свой сад, потом просыпается, надевает платье, молится, стоя на коленях у окна и широко открытыми глазами глядя на золотой диск ноябрьского утра. На завтрак грудинка с капустой, горячий пунш, затем в кабинете трубка американского табака из Вирджинии, размышления над воскресной проповедью. Слышится лай собак. Звук этот задевает пастора за живое, как звон колоколов. Он открывает окно и выглядывает из кабинета на улицу. Там он видит Джорджа Пейса, своего слугу, со сворой собак, и мистера Астика, приехавшего из Тотлея, – обоих в предвкушении утренней охоты. Астик, прихлебывая из фляги, беседует с Пейсом.

– Здравствуйте, Астик. Давненько не было столь великолепного утра, правда?

– Такие утра, должно быть, ждут нас на небесах, верно, ваше преподобие?

– Тут никаких сомнений. Собаки наготове, Джордж?

– Вон как радуются. Ничего, сейчас угомонятся.

Шерсть у собак лоснится, они вертятся на месте, тихонько покусывая друг друга за горло. Пастора охватывает ощущение счастья, он мнит себя двадцатилетним.

– Мне нужно кое-что сказать доктору. А потом я в вашем распоряжении.

* * *

Джеймса он находит у него комнате, тот одевается.

– Прошу меня извинить за внезапное вторжение в столь ранний час.

– Я слышал лай, – отвечает Джеймс. – Собаки так и рвутся.

– Они прямо-таки созданы для такого утра. Впрочем, я явился к вам с поручением: хочу просить вас об одном одолжении. Вы ведь знаете, у нас заведено, что доктор Торн отворяет нам кровь в день ужина церковной десятины; так вот, бедняга упал с лошади, ушиб голову и приехать не может. Моя просьба сводится к следующему: не обяжете ли вы нас? Что до меня касается, то я мог бы и пропустить, но моя сестрица... – следует пауза.

Джеймс молча застегивает пуговицы у колен на своих бриджах. Под окном внизу заливаются лаем собаки. Пастор чувствует неловкость и пятится к двери со словами:

– Впрочем, это все пустое... пустое.

– Нет, отчего же, – говорит Джеймс. – Мы не можем расстраивать вашу сестру. – И они обмениваются улыбками. – Желаю удачной охоты.

– Не хотите ли присоединиться?

– Из меня никудышный охотник, к тому же я испытываю безотчетную нежность к зайцам. Да и нога моя, – он хлопает себя по колену, – станет вам помехой.

– В таком случае как вам будет угодно. Увидимся за обедом.

Пастор торопится, бежит вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Из своей комнаты Джеймс слышит, как охотники трогаются, собаки заливаются лаем, рвутся вверх, к небу, натягивая поводки, и постепенно весь этот шум стихает вдали.

* * *

Он умывается в тазу с ледяной водой, приглаживает волосы и рассматривает свои руки. Один шрамик на левой ладони превратился в небольшой красный прыщ, из которого сочится жидкость. Что до других шрамов – по пятнадцать или двадцать на каждой руке, – то, в общем-то, жаловаться не приходится, разве только на постоянный утомительный зуд. Впрочем, ничего особенно неприятного.

Он берет бритву, поднимает ее и рассматривает лезвие. Поначалу кончик бритвы заметно дрожит в руке, но потом его движения становятся спокойными и размеренными. Джеймс бреется перед маленьким покосившимся зеркальцем. Отросшая бородка у него темнее, чем волосы, в ней больше жизненной силы, словно она растет из более здоровой части его организма, той, что соответствует его возрасту – тридцати двум годам, – являя собой контраст измученному, напоминающему маску лицу и седым волосам на голове. Джеймс улыбается собственному отражению. Первый по-настоящему весенний день в самый разгар зимы. Кто скажет, что мне никогда не стать вновь совершенно здоровым?

Он натягивает перчатки из мягкой собачьей кожи и в поисках чего-нибудь съестного заходит на кухню, где миссис Коул, Табита, Мэри и еще одна девушка по имени Уинифред Дейд заняты приготовлением ужина.

– Боже правый, кто к нам пожаловал! – восклицает миссис Коул при виде Джеймса. Она отрывается от приготовления пирога и достает из кладовки холодное мясо. – Не желаете ли свеженьких яиц, доктор? Их Уинни из дома принесла.

– Немного фальшивой гусятины и кусок хлеба будут настоящим пиршеством. Благодарю вас, миссис Коул. Доброе утро, Табита, Уинни, Мэри.

Девушки, покрасневшие от жара плиты, переглядываются с глуповатым видом, закусывая губу. Но Джеймс этого не видит. Он смотрит на Мэри, которая сидит за большим столом и режет лук.

– Ты от лука не плачешь? – спрашивает он, в отличие от прочих даже не пытаюсь передать знаками смысл сказанного. Ему ни разу не доводилось слышать, чтобы

она говорила по-английски, но Джеймс знает, что она понимает его прекрасно – и когда он говорит, и когда молчит. На этот раз она отвечает ему, отрезав два жемчужных кружочка, аккуратно подцепив их ножом и положив к мясу в его тарелку. Джеймс тихо благодарит.

Довольный, он ест среди суеты хлопочущих на кухне женщин. Если сидеть тихо, о нем забудут и он сможет наблюдать за их женским мирком, словно и он такая же женщина, как они. В душе пробуждаются далекие, но яркие воспоминания о матери и сестрах, о служанке, певшей бессмысленные песенки, чье имя никак не приходит на ум. Он наслаждается их искусством. Какие великолепные хирурги могли бы из них получиться! А из него – из него, быть может, вышел бы сносный повар? Хочется спросить, нельзя ли к ним присоединиться, резать овощи или месить сладкое тесто для пудинга, да только им это помешает, девушки не смогут сосредоточиться.

Позавтракав, он незаметно выходит из кухни с чайником теплой воды и отправляется в сад. Останавливается, прислушиваясь к звукам охоты, и, похоже, слышит слабое эхо яростного собачьего лая. Рядом с домом пастора расположена теплица. Она так мала, что в ней даже нельзя встать во весь рост. Вокруг полно горшков и кадок. Струится аромат герани. Для своих опытов Джеймс отделил здесь небольшой уголок и теперь с радостью отмечает, что конопля, почва вокруг которой укрыта соломой, не замерзла в холодные ночи. Он рассматривает губки на дощатой полке, снимает с них маленькие ниточки паутины, берет одну и кладет в карман. Губки – его особая радость, несомненный успех в изучении анальгетиков, хотя один Господь знает, как далеко еще до совершенства. Все началось полгода назад, когда было послано письмо Джеку Казотту в Дувр. Имя этого человека вдруг всплыло в памяти совершенно случайно – когда-то Джеймс имел с ним дело, занимаясь врачебной практикой в Бате. Три недели спустя прибыл первый плотно упакованный ароматный пакет, за ним последовали другие, содержащие травы, семена и прочие лекарственные составляющие, включая также рекомендации Казотта и страницы, переписанные его ровным почерком из ученых книг, которых Джеймс не мог бы достать в деревне. Например, у Плиния Джеймс вычитал о свойствах корня мандрагоры, как его можно настоять в вине и как в стародавние времена его нередко использовали – милосердно или цинично, – дабы облегчить страдания арестантов во время пыток. Из уксуса и абиссинской мирры, горя странным возбуждением, он приготовил снадобье, которое было предложено Христу на Голгофе – предложено и отвергнуто. В древнем манускрипте времен конквистадоров был записан рецепт приготовления лекарственных губок: каждую губку следует погрузить в заваренный опиум, свежую вытяжку из

белены, незрелую ежевику, семя салата-латука, сок болиголова, мандрагоры и плюща. После того как губки впитают эту ценную субстанцию, их высушивают на солнце, а затем перед использованием вновь погружают в воду.

Никто, кроме Мэри, не понимает сути его экспериментов. Она догадалась по запаху – однажды вечером вошла к нему в комнату, понюхала воздух и слегка приподняла брови, словно говоря: «И это все, чему ты научился?» Пастор с сестрой тоже изнывают от любопытства, но лишних вопросов не задают. И Джеймс им за это благодарен.

Из теплицы он идет в сарай. Там двери открыты. На бревне сидит Урбан Дэвис и жуёт головку сыра. Он только что молотил овес, и в воздухе стоит пыль от мякины.

– Доброе утро, Дэвис.

– Доброе утро, мистер Дайер. – Приветственным жестом Дэвис поднимает сыр.

– Надеюсь, ты не испугал Сисси своей молотьюбой.

– Не-е. Только сейчас глядел на нее. Лежит себе преспокойненько.

– Вот и хорошо. Пойду ее навещу.

* * *

– Сисси! Сисси!

В конце прохода в темном уютном и сухом местечке под балками крыши примерно на уровне человеческого роста заметно какое-то шевеление, а затем раздаётся и тоненькое мяуканье, встревоженное, но в то же время просящее. Божья тварь привыкла к нему, узнает его поступь и, так или иначе, убежать от него теперь уже не может.

Ее нашли на второй неделе сентября, эту рыжую кошку. Она дышала часто и тяжело, укрывшись в некоем подобии гнездышка, которое сама для себя

соорудила внутри посаженного пастором куста жимолости. Первым ее обнаружил Сэм и рассказал Джеймсу, который пролежал у куста в траве, пока у него не онемела рука, разговаривая с ней sotto voce[6 - Вполголоса (ит.)], а кошка пристально и удивленно на него глядела. Это была кошка с фермы, усталая, старая, умевшая за себя постоять и к ласке не приученная. Терпением и принесенными с кухни подачками Джеймс втерся к ней в доверие. И спустя три дня смог взять ее на руки, на удивление легкую, точно какая-то маленькая кошечка влезла в шкуру большой. Джеймс отнес ее в сарай, уложил в коробку с тряпками и соломой и осмотрел при свете фонаря. Обследование выявило опухоль повыше печени. Старая кошка умирала в мучениях.

Что было делать? Оставалось три пути: не мешать ей умирать, убить или лечить. Приемлемыми ему показались лишь два последних. Ведь он уже вмешался в существование несчастного создания, а вмешавшись, возложил на себя ответственность, которая не позволяла махнуть на кошку рукой. Что до убийства, то быстрая смерть, несомненно, была бы для нее облегчением, а Джордж Пейс ловко умеет убивать животных, не мучась угрызениями совести. Сильный и точный удар – дело для него самое обыкновенное.

И все-таки отчего жизнь кошки должна быть менее ценной, чем жизнь человеческая? Ценной даже в болезни, даже in extremis[7 - Под конец (лат.)], нет, как раз тогда-то еще более ценной. А ежели боль можно ослабить, заметно ослабить, ежели он обладает спасительным средством, не будет ли это наилучшим исходом? Не назначено ли ему так поступить? Но может, это существо есть лишь невольный объект его опытов? Последняя мысль ему явно не по душе. Лучше об этом не думать.

Вынув из кармана губку, он отрывает от нее кусочек и макает в теплую воду из чайника. «Ну-ну, Сисси, на, возьми, ты же это любишь». Страдания научили животное, что надо делать, и, когда разбухшая губка оказывается у ее мордочки, кошка начинает нюхать ее и жевать, втирая влагу в чувствительную кожу ноздрей и десен, – смехотворные, жалкие движения. Опухоль гложет кошку изнутри, и доза каждый день увеличивается. Всякий раз, приходя в сарай, Джеймс ожидает, что найдет ее мертвой. Ему кажется, что она заставляет себя жить, чтобы вновь и вновь принимать наркотик. Он гладит потускневшую шерстку и следит за тем, как кошка погружается в состояние безмятежной имбецильности.

Внизу Урбан Дэвис вновь принялся за молотьбу, слышатся его размеренные удары под бормочущие звуки церковного гимна. Что это он поет? «Приди, о ты, паломник неизвестный». Джеймс собирает вещи, спускается по приставной лесенке и прикладывает перчатку к лицу, чтобы не вдыхать пыль.

2

Пастор, его сестра, мистер Астик и Джеймс обедают за столом в гостиной, куда сегодня вечером приглашены фермеры-джентльмены. Остальных, попроще, согласно обычаю, будут угощать на кухне. Большую столовую, не использовавшуюся с Михайлова дня [8 - 29 сентября.], зимой приходится протапливать двое суток, чтобы она как следует прогрелась, к тому же она чрезмерно велика для одной компании и чересчур изысканна для другой.

- Еще кусочек этого славного жирного барашка, мистер Астик? - Его преподобие в восторге от утренней охоты, принесшей в качестве трофеев двух крупных зайцев. Джеймс видел в кухне их истерзанные тушки.

- Нелл - это та серебристая сука, доктор, - ни дать ни взять настоящий леопард. Прямо бешеная. Еле-еле домой дотащилась - трясется вся и язык на плече.

- Позвольте наполнить ваш бокал, доктор, - говорит сидящая рядом с Джеймсом Дидо.

- Смотри, Дидо, не напои доктора, - предупреждает пастор, которому слегка ударил в голову предобеденный пунш. - Ему сегодня предстоит нас резать.

- Я думаю, доктор, - вступает в разговор мистер Астик, - врачи, как и пациенты, сами не прочь выпить перед операцией. Ибо мужество требуется и тем и другим.

- Мне подобные случаи известны, - говорит Джеймс, ковыряя мясо в тарелке.

- Но доктор Дайер таким никогда не был, - замечает его преподобие.

– Я хотел сказать, – продолжает мистер Астик, – что храбрость нужна не только тому, кого оперируют, но и тому, кто оперирует. Разве не так?

– Я был свидетелем, – отвечает Джеймс, – как одного очень почитаемого хирурга в известной больнице стошнило перед входом в операционную. Я видел, как врач с годовым доходом в тысячу фунтов сбежал посреди операции.

– Прошу вас, джентльмены, – говорит Дидо, постукивая вилкой по столу, – нас еще ждет пудинг.

– Совершенно справедливо, дорогая, – подхватывает пастор, – я мечтаю о пудинге миссис Коул с самого завтрака. Ха-ха-ха!

– Ты зубами вырешь себе могилу, братец.

– Раз уж ты ничего не ешь, сестрица, мне приходится есть за двоих. Когда вы сможете заняться нами, доктор?

– Когда вам будет удобно.

– В таком случае я сначала обчищу вас в «мушку», а уж потом вы отыграетесь на мне по-своему.

Над шуткой пастора смеется даже Дидо. Станным нервическим смехом.

3

Джеймс сидит в гостиной и читает, когда за ним присылают Табиту. Он уже четыре или пять раз прочел один и тот же пассаж из «Родерика Рэндома» – о том, как Родерик обхаживает престарелую мисс Спаркл, – но не воспринимает ни комичности, ни жестокости этой сцены. Даже теперь, когда все уже решено, он пытается придумать какую-нибудь отговорку, прислушиваясь к стуку тяжелых шагов пастора у себя над головой. На ломберном столике у камина рядом с картами его последней проигранной партии лежит аккуратный черепаховый футляр с ланцетами. Это футляр пастора, а раньше он принадлежал его отцу.

Что случилось с футляром Джеймса – неизвестно. Должно быть, нашел себе место в чужом кармане.

В гостиную входит Табита:

– Мисс Лестрейд просит вас к ней подняться.

– Мисс Лестрейд?

– В её комнату, сэр, – и Табита неопределенным жестом показывает вверх.

– Что это у тебя там? – спрашивает он.

Табита подходит и передает ему фаянсовую миску:

– Пастор велел передать.

– Спасибо, Табита.

Взяв миску и черепаховый футляр, Джеймс поднимается по лестнице. Потом поворачивает налево, останавливается и легонько стучит в первую дверь с правой стороны.

За столом у окна сидит Дидо Лестрейд. После обеда она переоделась, и теперь на ней шлафрок бледно-лимонного цвета и белая, подбитая ватой нижняя юбка. Лицо ее озарено дневным светом, какой предпочитают художники. Кажется, мы с ней почти одногодки, думает Джеймс. У нее милые глаза, очень добрые, но как безбожно она выщипала себе брови!

Джеймс никогда не переступал порог ее комнаты. И он понимает, что его специально пригласили посмотреть и выразить восхищение. Оглядевшись, он замечает лондонский фарфор, веера из павлиньих перьев, ширму с вышивкой petit-point[9 - Вышивка мелкими стежками (фр.)], лакированный комод, над кроватью балдахин из индийского хлопка, украшенный изображением древа жизни. Бесконечные оборки и всяческие безделушки. И все это в комнате, которая даже старше местной церкви и расположена в доме, более пригодном для массивной и грубой мебели, для предметов, от которых веет временем и

могилой, то есть для всего того, что стоит в остальных комнатах. Таков протест Дидо, ее осторожный мятеж. В самом сердце северного Девона – будуар Бата. В этом есть что-то трогательное, и Джеймсу хочется как-нибудь невзначай утешить ее. Он чувствует, что есть какие-то особые слова, подходящие для ситуации такого рода, которые бы с точностью передали его чувства, но ему их никак не найти. И голосом более грубым, чем хотелось бы, он спрашивает:

– Вы приготовили материю, чтобы наложить повязку?

Она приготовила. На столе лежит шелковый шарф яркой расцветки. У Дидо короткий рукав, но Джеймс заворачивает его еще выше, чтобы перевязать руку. Он физически ощущает такую близость к Дидо, какой раньше никогда не испытывал. Чувствует ее запах, фактуру кожи. Его трогают белизна и голубые прожилки на сгибе локтя.

– Не слишком ли туго? – спрашивает он.

Дидо, отвернувшись, качает головой. Из жилетного кармана Джеймс вынимает футляр, открывает крышку, выбирает одно из маленьких лезвий, достает его, роняет, шарит по турецкому ковру, находит, откашливается, берет Дидо за руку – такую холодную в его руке, – находит вену, прокалывает ее, подставляет миску и смотрит, как льется кровь. Собрав на глаз граммов сто пятьдесят, Джеймс зажимает большим пальцем ранку, развязывает шарф, вздыхает. Хлопковый шарик используется как тампон. Дидо сгибает руку и держит ее на груди, как цветы или больную зверушку.

– Но доктор Торн выпускает в два раза больше, – говорит она, глядя в миску.

– Кровь гораздо полезнее, если она внутри.

– Мой батюшка считал кровопускание благом для практичных женщин.

– А ваша матушка была практичной?

– Это подразумевалось. Как и в случае со мной.

– Я никогда не считал вас практичной, – говорит Джеймс почти совершенно искренне.

– Я знаю.

– Как вы себя чувствуете?

– Очень хорошо, спасибо.

– Если понадобится, я буду у вашего брата.

* * *

Пастор смотрит в окно – перед ним сад, поднимающиеся вверх поля, лес. Он приветствует Джеймса, не поворачивая головы. Неожиданно после утренней охоты и веселья на него напала тоска. Там, с собаками, на какой-то час он почувствовал, что вернулся в свои юные годы, что его тело, сильное и крепкое, отрадно повинуетя ему во всем, и даже охваченный охотничьим азартом, его разум сохраняет приятную холодность, ясность, каковую он тщетно стремился обрести в иных обстоятельствах... Да... следует благодарить Создателя за этот единственный час.

Однажды в порыве откровенности пастор признался Джеймсу, что сочиняет стихи, но даже весь портвейн в подлунном мире не сподобил бы его на признание, что это за стихи и уж тем более кому они адресованы. Слегка тронутый меланхолическим видом его преподабодия, Джеймс решился спросить, не сочинительством ли он занят, на что получает торопливый и смущенный ответ:

– Нет-нет, что вы. Совсем нет. Я теряю свою музу, как теряю волосы, зубы, здоровье. Нет, я размышлял... не засеять ли то небольшое поле пшеницей и репой. Что вы об этом думаете? По-моему, вы как-то раз говорили, что выросли в деревне. Конечно, вы так говорили.

– Но я не изучал земледелие. О репе я могу сказать только одно – я предпочел бы ее в тушеном виде, если бы стал есть вообще.

– Жаль, я многого не знаю, – говорит пастор, – касательно того, что следует сажать. Мне бы хотелось подать пример. Знаете ли, эти фермеры за моей спиной смеются надо мною. Погодите, они и сегодня вечером станут скалить зубы. Вы ужинаете в гостиной?

– Думаю, лучше я буду изображать кухонного короля. В прошлом году на кухне хорошо пели.

– Как пожелаете.

Это, конечно, затем, чтобы остаться с Мэри. Была бы честь предложена. Как жаль, усмехаясь, думает пастор, что Джеймс не проявляет большего интереса к Дидо. Забавной они были бы парой, но эта чужеземка крепко его держит, что-то очень сокровенное привязывает их друг к другу. Правда, он никогда не видел, чтоб хотя бы их руки соприкасались. Есть ли между ними физическая близость?

Пастор заглядывает в миску:

– Так, я вижу, вы уже отворили ей кровь. Моей сестрице.

– Я собирался вылить, – говорит Джеймс, покраснев. – Как это я запомнил! Прошу прощения.

– Успокойтесь, доктор. В конце концов, это то же самое вещество, что дает жизнь и мне, хотя мой-то бульон покрепче. А теперь, сэр, я буду вам очень признателен, если вы отворите сосуд вот здесь, – и пастор стучит пальцем у правого виска. – Торн так уже делал, и я полагаю, что получу большое облегчение.

Джеймс смотрит на пастора, пытаясь уразуметь, сколь серьезны его слова.

– Кровь, – говорит он, – циркулирует по всему организму – забрать ее в одном месте все равно что забрать в другом.

– Такова, должно быть, теория, тут вы правы, однако я испытываю избыток кровотока, полнокровие, именно в области головы.

- Но это может быть опасно. Причем без всякой надобности.
- Ну уж нет, друг мой, только не для человека с вашими талантами.
- Вы спутали меня... с тем, кем я был раньше.
- Делайте свое дело, дружище, а я буду сидеть недвижно, как камень.

Дабы подтвердить свое намерение, его преподобие усаживается на табурете, не шевелясь, словно позируя для портрета. «Откажусь, – думает Джеймс, но потом возникает другая мысль: – А почему бы и нет? Раньше я мог проделать это с завязанными глазами. Дьявол поberi нас обоих. Сделаю».

Он раскладывает широкий носовой платок на плече у пастора, выбирает ланцет и наклоняется к его виску, рассматривая кожу под коротко остриженными, светлыми с проседью волосами. Избавившись на короткий миг от всех сомнений, он вводит острие ланцета в плоть, непроизвольно содрогается, тут же справляется с собой, заходит глубже. Слышит шумное, частое дыхание, полагая, что пастора, но потом осознает, что собственное. Струйка крови, извиваясь, течет по подбородку. Пастор просит сквозь зубы: «Глубже, доктор, еще глубже».

Но вдруг что-то происходит, что-то ужасное, как во сне, когда чередой привычных образов без всякого предупреждения оборачивается чем-то примитивным и жутким и спящий пытается вырваться из своего кошмара. Спазм, словно его руку пронзил электрический разряд, судорожное сокращение мускулов или бог ведает что еще. В одно мгновение добрая половина лица пастора оказывается залитой кровью. Ланцет падает из рук Джеймса, а за ним и миска, забрызгивая кровью рубашку пастора. Его преподобие охает, кренился на бок, будто подбитый корабль, хватается за голову. И вдруг очень спокойным голосом говорит: «Помогите мне, Джеймс». Джеймс убегает. Прочь из комнаты пастора, к себе. Проходят секунды, может быть, даже минуты, прежде чем он находит в себе мужество вернуться; минуты, пока он в ярости сверлит взглядом свой плащ, висящий на гвозде с внутренней стороны двери. Потом он хватается за все белье, какое попадает под руку, – рубашку, ночной колпак, кусок полотна, которым обычно вытирает себе лицо, – и мчится обратно к пастору, как любовник в фарсе.

Пастор лежит на кровати, зажав рану рукой. Джеймс падает рядом с ним на колени, осторожно отнимает от виска его руку. Кровь льется с такой силой, что

невозможно сразу определить местонахождение раны. Джеймс вытирает кровь, делает компресс из куска полотна и закрепляет его с помощью ночного колпака. Выскакивает на лестницу и зовет: «Табита!»

Ее лицо, покрытое мукой, точно пудрой, появляется в лестничной клетке. Джеймс велит ей принести горячей воды – горячей воды и красного вина. Грудь его вздымается так, словно он только что со всех ног бежал вверх по тропке между полями. На лестничную площадку выходит Дидо, все еще согнув руку в локте и изумленно глядя на Джеймса.

– Что случилось? – спрашивает она. – Вы ушиблись?

Джеймс разевает рот, но не находит что сказать, бежит назад в комнату и наклоняется над распростертым пастором, как будто укрывая его от дождя. Дидо следует за ним, издавая взволнованные восклицания, и сердито глядит на брата. «Господи, братец... он застрелился?» Слышится звук, поначалу зловещий, – хриплое клокотание слюны в горле. «Он умирает?» – спрашивает Дидо, ее лицо побледнело, но для такого случая она держится на удивление твердо.

– Не умирает, – говорит Джеймс. Он прекрасно знает, что означает этот звук. – По-моему, он смеется.

Лежащий на кровати человек говорит пронзительным голосом, ибо вопрос сестры его немало позабавил:

– «Он застрелился»!.. О, бесподобно... бесподобно, сестрица...

Через минуту появляется Табита с вином и водой на подносе. За ней миссис Коул, встревоженная рассказом Табиты о том, как доктор, точно сумасшедший, размахивал руками на лестнице. Они видят пастора, сидящего на краю своей постели, бледного, но улыбающегося, с головой, замотанной в окровавленный ночной колпак, Дидо, которая сидит рядом с ним, плотно сжав губы, и доктора, о котором рассказывают столько, быть может, и правдивых историй и который сидит по другую сторону пастора, всхлипывая, как младенец.

– Что там у нас с ужином, миссис Коул? – спрашивает его преподобие.

Какое геройство! Да, сударь, день выдался на редкость удачным.

4

Двое идут в лес, мужчина и мальчик, под светом ноябрьской луны. Мужчина, немного ссутулившись, хромот на правую ногу, его голова то поднимается вверх, то опускается, как у пловца. Мальчик, зажав руки у себя под мышками, чтобы было теплее, идет следом за ним. Мороз усиливается, все вокруг сияет, освещенное огнями дома.

Они подходят к поленнице. Джеймс протягивает руки, чтобы мальчик сложил в них дрова. От поленьев тянет землей, грибами, гниющей корой.

– Бери те, что сзади, Сэм. Они, может, суше?

– Все чуток подмокшие.

– Возьми вон там, сбоку, буковые.

Лето было жаркое, осень сырая и теплая, урожай небогатый. Пшеница идет по пятьдесят шиллингов и восемь пенсов за квартал, на три шиллинга больше, чем в прошлом году.

– Возьмем, что есть, Сэм, и высушим у огня.

Они отправляются назад, к освещенному дому. Молодой пес рвется на цепи и лает. «Потише, сэр», – слышится голос Джеймса. Пес прячется в тень и, наострив уши, прислушивается к движениям людей и тихим окрестным звукам.

Джеймс локтем открывает щеколду на двери в кухню. Сразу же сидящие за столом люди начинают жаловаться на холод, правда с благодушным видом, пока Сэм не закрывает дверь пяткой. Оба складывают поленья и стряхивают с курток землю. За столом сидят двенадцать мужчин, толстых и тощих, и изо всех сил стараются съесть ровно столько, сколько потеряли, отдав церковную десятину. Съесть и выпить с особенной веселой решимостью. Джеймс знает многих, и

многие знают его. Знают, но не настолько, чтобы понять, что он за человек.

Табита роняет кувшин, один из самых больших. Он с грохотом разбивается у ее ног, оросив чулки капельками сидра. Табита вскрикивает, но скорее от усталости, чем от испуга или страха, что ее выберит миссис Коул, которая прислуживает в гостиной. Фермеры смеются. Джеймс подходит к ней и говорит:

– Иди спать, Табита. Мы с Сэмом тебя заменим.

Ужин церковной десятины, событие, не вызывающее особой радости ни у одной из сторон, подходит к концу. На столе полно кружек, рюмок, грязных оловянных тарелок с выщербленами, обглоданных и растерзанных остовов уток, цыплят и зайцев, коричневых узловатых костей говядины, острых косточек барашка.

– Скажи-ка мне, Сэм, – говорит Джеймс, – как все эти твари в Судный день соберут себя по частям?

– Выходит, там будут не только человеки?

– Нет же, честное слово. Цыплята, кошки, кит Ионы. – Джеймс смотрит вниз на Сэма, проворного, худого, поразительно некрасивого мальчика одиннадцати лет. В пятнадцать его не отличишь от любого крестьянина с красным лицом, шейным платком в горошек, одетого в кожаные бриджи и дерущего глотку на рыночной площади. К тридцати он станет таким же, как те, кто теперь сидит за столом, – все еще крепким с виду, но уже подорвавшим здоровье заботами и тяжелым трудом, пьющим, чтобы забыться.

Они уселись рядышком на скамье у огня. Жар согревает Джеймсу лицо.

– Вы обещали рассказать историю, доктор Джеймс, – говорит Сэм.

Только он обращается к нему «доктор Джеймс», остальные же зовут его так лишь между собой.

– Какую историю, Сэм? – спрашивает Джеймс, прекрасно зная, что тот имеет в виду.

– Про соревнование.

– Ах да.

– И про королеву тоже.

– Императрицу, Сэм. Она еще важнее, чем королева.

– И про Мэри.

– А ты услышишь что-нибудь в таком гвалте?

Сэм кивает.

Для Джеймса это интересный опыт – превратить свою жизнь в серию детских историй. Череду небольших, безопасных всплесков, удерживающих его – так ему кажется – от хлещущего через край потока ужасных, беспорядочных откровений, адресованных какому-нибудь незнакомцу или, что того хуже, человеку знакомому. А Сэм благодарный слушатель, снисходительный к любым переделкам, он следит за ходом истории, как за плугом, вспахивающим борозду.

– Так на чем мы остановились в прошлый раз?

– На вашем друге, мистере Гаммере.

Вот образ: лицо Гаммера, то есть глаза, ибо остальное замотано от мороза шарфом. Да и можно ли назвать Гаммера другом?

Джеймс пьет из кружки, снимает перчатку и вытирает губы тыльной стороной ладони, ощущая рубцы от шрамов.

– Стало быть, ты знаешь, как я впервые познакомился с мистером Гаммером, когда был маленьким мальчиком, как он ко мне подкрался, когда я лежал на животе в траве в старой крепости на холме в день, когда играли свадьбу, и как, упав с вишни...

– Вы еще ногу сломали...

– Верно...

– И человек, что лечил ее...

– Амос Гейт, кузнец. Ну хорошо. Так вот, после того как моя нога зажила – потом, правда, она опять заболела, – к нам в дом... пришла болезнь. Очень тяжелая болезнь, и моя мать, и братья, и сестры, – все умерли...

– Все?

– Все, – повторяет Джеймс, настаивая на своей лжи. – Так или иначе, я остался один и отправился пешком в Бристоль искать мистера Гаммера, полагая, что раз уж он проявлял ко мне интерес, то, может, возьмет к себе жить. Я был моложе, чем ты теперь, Сэм, но прошел всю дорогу пешком, к тому же, насколько помню, почти все время лил дождь. Тебе приходилось бывать в городе, Сэм, в большом городе?

Сэм мотает головой.

– И мне тогда тоже не приходилось. А сколько в городе народу! Солдаты, матросы, жирные торговцы, прекрасные дамы, подбирающие платье, чтобы не испачкаться в навозной жиже, – ибо в городе гораздо грязнее, чем в деревне, Сэм. Тогда я впервые в жизни увидел негра и китайца. Там были корабли со всех концов света, они стояли бок о бок, как скотина в загоне. А магазины, Сэм, все в огнях, точно на Рождество, народ снует туда-сюда, шум и гам от людей и животных. Так вот, найти мистера Гаммера среди всей этой... гм... суматохи было, как ты догадываешься, делом совсем не легким, и все же я нашел его, следуя своему чутью; он был очень удивлен и даже в каком-то смысле обрадован, хотя, должен тебе сказать, он не был добрым человеком. Ну а поскольку я не был добрым ребенком, то мы поладили друг с другом. И вот...

– Эге-гей, тут человек от жажды погибает!

В подтверждение этих слов некоторые пирующие размахивают кружками, другие начинают колошматить по столу кулаками. Грохот усиливается,

напоминая топот марширующих солдат.

– Пойдем, Сэм.

Джеймс встает, улыбается, извиняясь перед фермерами легким поклоном. Берет кувшины, по два в каждую руку, и выходит через дверь в конце кухни в холодный чулан без окон, где стоят медные тазы, бродильные чаны и бочки и где его преподобие четырежды в год следит за брожением пива, а миссис Коул делает свои домашние вина – бутылки сложены штабелями вдоль двух стен. Несмотря на холод, там на соломенном стуле совершенно неподвижно сидит Мэри, вроде бы ничем не занятая. Свеча горит у нее в ногах, по-кошачьи аккуратно подобранных. Джеймс наливает пиво. Наполнив кувшины, говорит:

– Пойдем. Здесь холодно, даже для тебя.

Она глядит на него глазами, похожими на черные камушки.

– Это всего лишь мелкие фермеры, – продолжает он. – Пошумят и перестанут. Только и всего. – Он поднимает кувшин. – Пойдем. Посидишь у огня вместе со мной и Сэмом.

Джеймс приносит пиво на кухню и ставит на стол. Ему очень хочется верить, что она счастлива, по крайней мере довольна.

– Ага! Ваш ликсир жизни, доктор. Вы не дали нам умереть от жажды.

– Долгих вам лет, джентльмены! Здоровья и счастья.

– А вы с нами не выпьете?

– Если компании это будет приятно.

– Хорошо сказано, дружище!

Кувшин передается из рук в руки, и каждый, наливая, выплескивает пиво на стол.

– Нужен тост, друзья!

– За здоровье короля!

– За Георга-фермера, старого песочника!

– За лучшую бабенку на свете!

– Нет, ребята, – это говорит Уин Талл. – За нашего доктора Дайера. Не так уж он рад этому названию, уверяю вас... – Все кричат «ура» его мудрости. – Но раз он не пользуется своими лекарствами ни мужчин, ни женщин, а нож берет в руки лишь для того, чтоб отрезать кусок хлеба, то ни один врач в королевстве не спасает больше человеческих жизней, чем он!

Тост произнесен.

– Весьма благородно с вашей стороны, джентльмены, – говорит Джеймс. –
Весьма.

Чей-то голос:

– Где Уилл Кэггершот? Ну-ка выдай нам стих, Уилл. Про Салли Солсбери!

Кэггершот, пошатываясь, поднимается со скамьи:

– «Эпитафья бедняжке Салли Солсбери».

Товарищи смотрят на него глазами счастливых школьников. Кэггершот откашливается:

Здесь лежит на спине, но недвижно вполне

Наша Салли, под траурный звон,

По дороге порока проскакав во весь дух,

Потому дух и вылетел вон.

К наслажденьям летела бедняжка моя,

Но, споткнувшись, упала она,

И хотя всем казалось, что жизнь ее двор...

Он замолкает, тараща глаза поверх голов своих собутыльников на дверь в чулан. Остальные, повернувшись, смотрят туда же. Джеймс встает со скамейки перед очагом, разводя руками, словно хочет вновь привлечь внимание собравшихся.

- Это всего лишь Мэри, джентльмены. Нет нужды обрывать песню.

- Мы знаем, кто это, доктор.

Кэггершот садится. Фермеры переводят взгляд в центр стола. Джеймс пожимает плечами, направляется к Мэри, подводит ее к скамейке и сажает рядом с Сэмом. Постепенно разговор возобновляется, как старая засорившаяся и вновь прочищенная помпа. Фермеры пьют; им подают новые напитки. О Мэри забыли. Кэггершот поет свои песни, одна непристойнее другой. Вдруг Ин Талл, брат Уина, бессменный и жалкий шут компании, тычет своим дрожащим пальцем в сторону Мэри и спрашивает:

- А как нащот женщины, доктор, чтоб она зубы показала и вообще.

Остальные хором подхватывают просьбу, и тут становится ясно, что Ин высказал то, о чем думали другие. Джеймс немного боялся такого поворота событий, но все же надеялся, что до этого дело не дойдет из-за уважения к нему, «доктору», другу пастора и очевидному покровителю Мэри. Его словно ужалило столь явное предательство. Но кроме себя винить некого, сам же ее привел. Он встает, набрав в легкие воздуха.

- БАЛАГАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НЕ БУДЕТ, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ!

Никто из присутствующих, даже Мэри, не знал Джеймса Дайера в ту пору, когда этот безукоризненный молодой человек отправился в Россию осенью 1767 года. Никто не видел его в зените славы, оваянным громом и молнией, жмущим руку послу при императорском дворе так, словно послу выпала небывалая честь приветствовать его. Никто не мог бы даже вообразить подобное, кроме,

пожалуй, Сэма, расставляющего в своем воображении великолепные фигуры всех действующих лиц из рассказанных Джеймсом историй. На мгновение фермеры попросту утратили дар речи.

Немая сцена нарушается звуком, подобным шелесту накрапывающего дождя. Это Мэри подходит к столу, аккуратно сложив руки у пояса, точно собирается спеть. Выдержав паузу – как на театре, – она разжимает губы, оскаливаясь, так что всем становятся видны ее обнаженные до десен передние зубы, спиленные до острых концов. От изумления сидящие за столом испускают негромкий стон. Это куда лучше, чем двухголовый баран или математическая рыба в вонючей палатке на деревенской ярмарке. У фермеров такое забавное выражение лиц – многие непроизвольно повторяют ее оскал, – что ярость Джеймса обращается в смех, громкий и раскованный, который вполне мог бы вызвать недобрую реакцию гостей, не появившись на кухне его преподобие с подозрительно красным, несмотря на кровопускание, лицом – результатом пятичасового пиршества и карточной игры. Он вопросительно вглядывается в Джеймса, затем обращается с речью к фермерам:

– Боюсь, джентльмены, я не смею вас более задерживать. Сам я тоже немало сил отдаю фермерству и понимаю, сколь велико ваше стремление поспешить домой.

Появление хозяина, пусть даже приходского священника, лишенного величественного ореола, действует неприятно отрезвляюще. Трубки выбиты, кружки допиты. На лицах проступает предчувствие холода, который придет с рассветом; опять надо будет возиться с непослушной скотиной, шагать по замерзшим, темным полям, подобно первому, а может, последнему человеку на земле.

Джеймс выносит шляпы и пальто, шарфы и рукавицы, сожалея о том, что смеялся. Двор наполняется движением – шарканьем и топотом людей и коней. Залившийся бешеным лаем при их появлении пес получил от пастора шлепок и теперь лежит на брюхе, едва-едва сдерживаясь. Копыта стучат по булыжнику, словно град камней. Фермеры отъезжают, их кони находят тропинку, ведущую к дороге, и наконец только Джеймс, Сэм и пастор остаются среди наступившей тишины, обрамленные светотенью пасторского фонаря.

Мальчик дрожит. Его преподобие глядит на него с удивлением.

- В уме ли ты, Сэм? Ты ведь мог поехать домой с кем-нибудь из гостей.

- Я провожу его, - говорит Джеймс. - Это я задержал Сэма своими историями.

- Ах, историями... - Пастор кивает с таким видом, будто для него это слово означает нечто особое. - Да, вам есть что рассказать.

- В некоторых вы принимали участие.

Улыбка мелькает на губах пастора.

- Что правда, то правда. - Он нюхает воздух. - Смотрите, не поскользнитесь на льду, доктор. Не желаете ли взять с собой фонарь?

- Нет, мы с Сэмом изучаем звезды. Без фонаря их лучше видно.

Сэм бежит в дом принести пальто себе и доктору и еще захватить Джеймсову палку. Стоя во дворе в ожидании мальчика, Джеймс замечает повязку, торчащую у пастора из-под парика. Ему хочется спросить, как тот себя чувствует, но слишком уж неприятно вспоминать о кровопускании. С облегчением Джеймс замечает, что пастор кивком указывает ему на раскрытую дверь - там при свете свечей Сэм прощается с Мэри.

- Она ему нравится, - говорит пастор.

- Да, между ними что-то есть.

- Она когда-нибудь говорит с ним?

Джеймс пожимает плечами:

- Он ее и так понимает.

Сэм приносит Джеймсу его тяжелый сюртук с глубокими вместительными карманами, куда обыкновенно укладываются книги, яблоки и бумага для рисования.

– Ну что ж...

– Храни вас Бог.

– Доброй вам ночи.

– Доброй ночи. Доброй ночи, Сэм.

Они расходятся. Пастор поворачивает к дому, чешет за ухом у пса и вздыхает – вздыхает так тяжело, что самому удивительно. Ему чудится, будто его тело обладает каким-то тайным знанием, которое следует передать рассудку. В виске пульсирует кровь; он осторожно дотрагивается до него двумя пальцами. Странно, что Джеймс так разнервничался. Странно, что человек вообще может так перемениться. Конечно, как доктору ему конец. А какой это был талант! Правда, раньше он был человеком грубым и бессердечным. Но приносил пользу, Господь свидетель. Кто более нужен миру – человек хороший, но обыкновенный или выдающийся, но с ледяным, с каменным сердцем? Трудно сказать. Что-то пес больно тощ. Надо бы выгнать глистов. Ну а теперь пора спать. И увидеть хороший сон.

5

От дома почти милю надо идти по разбитой копытами тропинке, пока не доберешься до моста и дороги, ведущей вверх по холму в деревню. Здесь, в тени деревьев и высоких живых изгородей, еще темнее, но луна указывает путь, озаряя глубокие колеи, поблескивающие льдом на морозе, и извилистые ветви, тянущиеся в лучах рассеянного света из мрака во мрак. Когда над головой открывается ясное небо, они замедляют шаг, Сэм следит за согнутой рукой Джеймса, показывающей ему звезды, и они оба долго глядят в бескрайнюю бездну небес, пока сама земля не начинает как будто выскользывать из-под ног, и им приходится опустить глаза, чтобы не споткнуться. Их шаги спугнули какого-то зверя; в потемках мелькнули только два глаза, а сам зверь показался таким же бесплотным, как быстрый сухой шорох, сопровождавший его бегство через живую изгородь. Сэм утверждает, что это была лиса, говорит, что расскажет Джорджу Пейсу, а тот даст ему за это пенни.

Постепенно Джеймс уговаривает Сэма спеть песню. Некоторое время тот идет молча, перебирая в уме свой репертуар, потом затягивает «Джона Ячменное Зерно». Сперва его голос звучит слишком тихо, но мало-помалу мальчик входит во вкус и поет легким дискантом с хрипотцой на высоких нотах:

Приехали трое из дальней земли,

Чтоб счастье свое пытаться.

И клятву страшную дали они,

Что Джону пора умирать...

Это пение, длящееся всего несколько минут, выражает, как кажется Джеймсу, всю естественную печаль человеческой жизни, такого он не слышал ни в соборе, ни в концертной зале. Ни в сумасшедшем доме.

Колесовали беднягу они,

А потом явились в амбар

И там сложили большую скирду

Из Джона Ячменное Зерно...

Путники выходят к каменному горбтому мосту с низкими парапетами и поворачивают вверх на холм в сторону деревни Кау. Одинокий огонек тускло мерцает в доме у кромки холма – это кабак Кэкстона. Проходя мимо, они заглядывают в плохо занавешенные окна и видят спины людей, старательно опорожняющих кружки. Далее они погружаются в царство темноты и бредут по вьющейся дорожке среди каменных фасадов спящих домов с закрытыми окнами и темных садов, слушая шумное дыхание и шевеление скота. Откуда-то издалека доносится хорошо различимое уханье совы, а следом за ним ответное уханье, столь же далекое и столь же хорошо различимое.

Дом пономаря они находят по слабому свету, просачивающемуся сквозь стекло окна на первом этаже. При звуке их шагов свет движется к двери, и им открывают прежде, чем они успевают постучать. Мать Сэма стоит в дверях со свечой в руке.

– Надеюсь, он вас не очень беспокоил, доктор.

И мальчику:

– Разве можно причинять доктору столько беспокойства – провожать тебя в такую даль среди ночи!

Дождавшись ребенка, она наконец успокоилась и уже не слишком сердится.

– Прошу вас, не ругайте его, – говорит Джеймс. – Это я виноват. А прогуляться в такую ночь мне совсем нетрудно. По дороге Сэм пел мне песню. У него хороший голос. Его бы, пожалуй, стоило определить в хор. Не так-то много у них там хороших голосов... Ваш достойный супруг – заметное исключение.

– Видит Бог, вы слишком добры к нему, – она слегка приседает, кланяясь, что заметно лишь по колыханию огонька свечи.

Несмотря на теперешнее положение доктора – обыкновенного приживалы в пасторском доме, – по его манере вести себя чувствуется, что он человек незаурядный, даже, быть может, знатный, а потому, по крайней мере в ее глазах, он предстает важным господином. И как трогательно он дружит с Сэмом. Хорошо, что ее сын знает человека, от которого так и веет светом и теплом.

– Пройдите в дом и выпейте чего-нибудь на дорожку.

– Не смею стеснять вас в столь поздний час, миссис Кларк...

Но он уже идет следом за ней и горящей свечой в дом, мимо удлинившейся за счет своей тени шляпы спящего пономаря, чей храп доносится до них, как только они располагаются на кухне. От тлеющих красных угольков в очаге идет приятный жар.

Этот дом лишь чуть-чуть поменьше того, в котором Джеймс провел свое детство в Блайнд Ио, и очень многое в нем – скромные, неказистые вещи, букет разнообразных запахов, игра света на начищенных поверхностях – знакомо ему, как собственное лицо.

Миссис Кларк приносит кружку мужа, наполненную элем, и ставит перед гостем. Себе она налила небольшую рюмку имбирного вина. Сэм же, стоя как ливрейный лакей за плечом у Джеймса, пьет молоко из деревянной чашки.

– Ваш супруг в добром здравии?

– Да, сударь, спасибо. Но ему, знаете ли, надо высыпаться. Он говорит, что от работы с таким количеством уснувших вечным сном у него до этого дела аппетит разыгрался.

– До какого дела, сударыня?

Неожиданное тепло после морозного воздуха нагнало на Джеймса дремоту. Миссис Кларк вспыхивает.

– Я о сне, доктор, только о сне, – она смотрит на сына и вдруг заливается смехом. – Это он так шутит, доктор.

– Нет на свете профессии, в которой не было бы своих особенных шуток. К несчастью, шутки людей, посвятивших себя медицине, пожалуй, самые грубые. Близость к страданию других порождает юмор скорее жестокий, нежели по-настоящему комический. Он возникает как защитная реакция на ужасы болезни, но постепенно становится у этих джентльменов чем-то обыденным.

– Уверена, о вас такого нельзя было сказать, – говорит миссис Кларк. В беседе с доктором ей всегда приятно ждать, что он проявит какую-нибудь нескромность.

– Нельзя, сударыня, это верно, ибо страдания других меня несколько не беспокоили. Я воспринимал боль лишь постольку, поскольку существовала зависимость между ее остротой и платой, которую я мог получить за избавление от нее.

Джеймс проговорил это, уставясь глазами в стол, но затем посмотрел на миссис Кларк, чтобы оценить впечатление, произведенное подобным признанием. На секунду в ее глазах промелькнуло замешательство, которое, впрочем, скоро прошло. Всем своим видом она дает понять, что намерена относиться к нему со всей душой.

– Вы, конечно же, знали свое дело лучше прочих, доктор.

– В этом можете не сомневаться, сударыня. Я был – и это не пустое бахвальство – единственным хирургом среди всех знакомых мне докторов, чья превосходная репутация не была дутой. У большинства были такие языки и такая способность фантазировать, что скандал в кабаке превратился бы в их устах в осаду Трои; что до истинного врачевания, то с тем же успехом больного мог пользоваться и гусь. Золотые шпаги и сердца из дешевой меди. – Он останавливается, улыбаясь, чтобы подавить гнев, зазвучавший было в его голосе. – Теперь вы видите, сколь немилосерден я к своей прежней профессии. Однако среди докторов встречались и хорошие люди, да-да, и даже женщины. Те, кто умел утешить, не вселяя напрасной надежды. Правду сказать, миссис Кларк, мы совсем немного можем сделать, совсем немного. Мы рождены и слишком поздно, и слишком рано – между тайным искусством старого мира и открытиями века грядущего. У меня был талант, сударыня, в основном хирургический. Но я никогда не мог рассматривать... – Он поводит руками в воздухе вокруг своей кружки. – У меня никогда не было того особого внимания к страданиям людей, каковое отличает целителей истинных.

– Слишком уж вы жестоки к себе, доктор.

Джеймс качает головой:

– Нет, сударыня, всего лишь справедлив. Я был хорош в очень ограниченном смысле. Поразительно искусен – да, но никто и никогда не искал у меня сострадания.

Слова эти звучат столь весомо, в его интонации появляется такая твердость, что миссис Кларк нечего возразить.

– Кажется, у вас есть сестра? – спрашивает она после долгой паузы.

– Было две.

– Они...

– Да. Та, что была красивой, Сара, умерла еще ребенком вместе с моим братом. А другая, наверно, еще жива. Моя Лиза. Во всяком случае, о ее смерти мне ничего не известно. Мы не виделись с детства.

– А вы говорили, что все померли, – вмешивается Сэм. – Что вы один на свете.

– Тише ты, – прерывает его мать, боясь потревожить столь хрупкое настроение Джеймса.

– Я так сказал, Сэм? Ну, значит, я был не слишком далек от истины.

Джеймс замолкает. Миссис Кларк ждет продолжения, а потом с надеждой говорит:

– Может, вы еще с ней увидите.

– Не думаю, что она будет рада. У нее нет причины любить меня.

– Сестре не нужна причина, чтобы любить родного брата, доктор. Это ее долг.

– О долге и речи быть не может. Я дурно обошелся с ней.

– Но вы ведь были еще мальчиком. Мальчики часто поступают дурно по отношению к своим сестрам. Господи, как подумаю, что творили мои братья. И все же мы, можно сказать, дружим.

Джеймс качает головой:

– Я не решусь даже взглянуть на нее.

– Ну тогда ей захочется посмотреть на вас, на свою плоть и кровь.

– Это невозможно.

– Прощение – великая вещь, – говорит миссис Кларк, – для тех, кто умеет его почувствовать.

Джеймс, опираясь на плечо Сэма, поднимается из-за стола.

- Она слепая, - говорит он тихо. - Слепла. От оспы.

Сэма отправляют в постель. Миссис Кларк снова со свечой в руке ведет Джеймса к двери. Ступив за порог, он спрашивает:

- Я странно говорил сегодня, да?

- Мы всегда рады вам, доктор.

- Спасибо. Я это чувствую. Поклон вашему супругу.

Опять он замечает неловкий реверанс. Дверь закрыта, засов задвинут, женские шаги удаляются в глубь дома. Джеймс идет по тропинке, моргая, чтобы избавиться от следа свечного пламени перед глазами. Стало еще холоднее, камушки хрустят под башмаками, как стекло. Он уже доходит до дороги, когда со стороны дома пономаря до него доносится тихое «тс-с-с».

- Вы еще расскажете истории, доктор Джеймс?

Голос слышится из маленького окошка под крышей. Самого Сэма не видно.

- Расскажу.

- Про императрицу?

- Да, Сэм.

- И отчего у Мэри острые зубы?

- Иди спать, Сэм.

Джеймс поднимает руку и машет.

* * *

Каким бы бодрящим и благотворным ни был эль пономаря, все же его нельзя назвать подходящим средством от мороза, забирающегося теперь под пальто к Джеймсу. А кроме того, после беседы с миссис Кларк ему совсем не хочется тащиться в такую даль домой – домой! – в жилище пастора, в холодную и, скорее всего, пустую постель. Полчаса общения с людьми, стаканчик разбавленного рома, ни к чему не обязывающий разговор – и он снова обретет душевное равновесие. И зачем только он столько всего наговорил миссис Кларк?

Поравнявшись с кабаком Кэкстона, он наклоняется и проходит через низкую дверь, останавливается в неровном свете и вдыхает мерзкий кабацкий воздух. Небольшая первая комната с маленьким очагом, скамьи, натертые многочисленными бриджами до черного блеска, четыре стола, на каждом из которых поставлено по копящей свечке с вьющейся над ней нитью сажи. Сам Кэкстон подбоченясь стоит у огня и поглядывает через плечо на полдюжины недавних гостей пастора, играющих в домино и почти совсем отупевших от выпивки и усталости. Завидев Джеймса, Кэкстон изображает на лице нечто, должное обозначать радушие, и они обмениваются приветствиями. Джеймс не был здесь уже несколько месяцев и за это время забыл, как ему неприятен Кэкстон, причем не из-за связи кабатчика с браконьерами – браконьеры в большинстве своем люди весьма достойные – и не из-за вполне обоснованных слухов о даче констеблям за деньги ложных показаний, в результате чего паренек, обвиненный в краже у джентльмена карманных часов, был повешен. Эти неприятные ощущения связаны с девушкой, дочерью Кэкстона, пребывающей на последних сроках беременности, которая сейчас стоит рядом с отцом и обгрызает ногти до самого мяса. Почувствовав на себе взгляд Джеймса, она пытается улыбнуться, но ее лицо выражает лишь крайнюю степень смущения.

– Что будете пить, доктор? – кричит Кэкстон. – Что велите девчонке подать вам?

Джеймс заказывает ром, отклоняет приглашение на партию в домино и садится один за свободный стол. Девушка – ибо ей всего четырнадцать или пятнадцать лет и, несмотря на ее положение, трудно назвать ее иначе – приносит ему стакан, вытирает стол мокрой от пива тряпкой и ставит ром перед Джеймсом. Он спрашивает о ее самочувствии, глядя на огромный живот, который как будто готов поглотить ее всю целиком. Избегая его взгляда, она отвечает: «Неплохо».

– Скоро тебе срок, Салли. Ты не боишься?

– Я буду только рада избавиться от него, сэр.

– А кто будет принимать роды?

– Матушка Грейли.

– У нее большой опыт, – говорит Джеймс, про себя ужаснувшись, что нормальный человек, а не исчадие ада вздумал обратиться к известной всем горькой пьянице с тысячью умерших младенцев, составивших ей репутацию. Должно быть, это решение Кэкстона.

– Чем проще будет, тем лучше, Салли. Ты молодая. Нет нужды принимать никаких снадобий.

Девушка шепотом благодарит его и быстро уходит. Джеймс поднимает стакан и пьет свой ром. Краткий разговор с Салли, вид ее отца, изворотливого грубияна, и даже фермеров, склонившихся над мелкими прямоугольничками, груда перепачканных монет на середине стола – все это угнетает. Нет здесь настоящей радости, как почти нет и надежды. И в девической беззащитности, и в грубости мужчин чувствуется равная мера неизбежного страдания; и хотя чье-то страдание, несомненно, заслуженно, чья-то боль наверняка являет собою возмездие, можно ли обрести в этом утешение или удовлетворение? Любая боль вполне реальна для того, кто ее испытывает. И все в одинаковой мере нуждаются в сочувствии. Господь знает, как нуждается в нем он сам.

Открывается дверь. Джеймс поднимает глаза. Человек таких размеров, что кажется, из него можно было бы сотворить двоих, человек с черной кожей – а может, с коричневой или даже сероватой, как опустившаяся на снег ночь, – входит в маленькую комнату, словно взрослый в компанию детей. Согнувшись под балками потолка и шаркая своими стоптанными малиновыми туфлями, он направляется к Кэкстону. Протягивает небольшой кувшин, вроде как для сливок, и шепотом, подобным шороху углей, которые ворошат кочергой в камине, произносит одно слово:

– Джину.

- Джину?

Чернокожий кивает, скупым жестом указывает на кувшин. Кэкстон берет кувшин и передает дочери, которая уходит в кладовку, чтобы его наполнить.

Чернокожий достает из кармана своего короткого кафтана кошелек и вытряхивает на ладонь монету в шесть пенсов. В такой ручище можно спрятать и мячик для крикета. Пальцы у него совсем негнущиеся, как у старика. Но все еще сильные.

Негр получает от Салли кувшин, благодарит и ждет от Кэкстона сдачи, но, поскольку ее явно не предвидится, устало кивает и шаркает назад к двери. Дверь захлопывается. Две-три секунды стоит тишина, слышно только, как беспорядочно потрескивает огонь, а потом фермеры начинают возбужденно переговариваться, сообщая друг другу, что каждый из них только что видел, словно он был единственным свидетелем этого потрясающего события. Кэкстона поздравляют с тем, что он надул чужестранца. Один фермер предрекает, что чернокожий его за это сварит и съест. Все хохочут. Другой, повернувшись к Джеймсу, спрашивает, из чего сделан негр, из того же ли, что и белый, или, может, у них и кости черные, как кожа.

- Нет, - отвечает Джеймс, испытывая огромное желание уйти, - они созданы такими же, как и мы.

- Люди говорят, у них и семя черное, - прошу прощения, Салли.

- Не могу сказать.

- А сердце? - интересуется Кэкстон. - Сердце черное?

- Не чернее, чем ваше, сударь, или мое, - отвечает Джеймс.

К раздражению Джеймса, его последнее замечание приняли за шутку, и он вынужден удалиться под хор веселых голосов, желающих ему счастливой дороги. Я не смог, думает он, осторожно ступая на лед, даже донести до них свое презрение.

Он избавляется от подобных мыслей, несколько раз глубоко втянув в себя холодный воздух, и принимается размышлять о завтрашнем дне – наверное, будет еще один великолепный солнечный день с пьянящим, как шампанское, воздухом. Джеймс улыбается, вспомнив неожиданный утренний задор пастора. Люди должны потихоньку собирать и хранить в памяти такие дни, запастись ими на случай иных, худших времен. Если завтра день и впрямь будет ясный, то, пожалуй, стоит взять чернила и бумагу и отправиться к дому леди Хэллам, чтобы зарисовать ту церквушку у воды.

Он уже начал было делать в своем воображении набросок, когда раздавшийся позади него звук подпрыгивающих по дороге колес, обшитых железом, заставил его отойти на покрытую дерном обочину. В течение нескольких минут повозка существует только в виде какофонии звуков – скрипа осей, безумных литавров грохочущих кастрюль и сковородок, визгливого, пьяного пения. Наконец уже можно различить силуэт экипажа – крытая повозка, запряженная лошадью, раскачиваясь, катится из Кау вниз с холма. Когда она оказывается рядом с Джеймсом, пение прекращается и кто-то громко вопрошает:

– Кто это там? Ты христианин или кто?

– Вам нечего меня бояться, – отвечает Джеймс.

Теперь под тихим сиянием звезд он может разглядеть две фигуры, одну совсем маленькую, как у ребенка, однако, судя по тону и облакам джина, сопровождающим каждое слово, вовсе не ребенка. И другую – негра из кабака Кэкстона.

– Те, которые порядочные, в такое время по обочинам не шастают, – говорит женщина, но вдруг посреди фразы ее голос наполняется медом. – Может, тебе и пойтить-то некуда? Бедный ты мой. Давай возьмем его к себе, Джон. Ему ночевать негде.

– Тише, – говорит негр.

– Ваше предложение очень лестное, но меня ждут и крыша, и постель совсем недалеко отсюда, – отвечает Джеймс.

– Ну и славно. Трогай, Джон.

Джон щелкает языком, лошадь трогается, и повозка катится дальше, оставляя за собой лентой вьющийся песенный след: «Вдохнешьливоздухлуннойночи-и-и... средьароматовтойбеседки-и-и... гдестополемлозасвиваясь... тебяпокровомосеняет...»

* * *

Джеймс спит с Мэри – находит ее у себя под одеялом, когда без свечи, в потемках, пробирается в свою комнату. Он залезает в кровать и ложится, прижавшись грудью к ее спине. Ужасная боль крутит ногу, но это его не беспокоит. Он знает, что будет крепко спать, вдыхая запах ее кожи, словно пропитанную дурманом губку. Целует ее в плечо, здороваясь и одновременно прощаясь, ибо она вернется в свою комнатку, когда он еще не проснется и задолго до того, как в доме послышатся первые звуки, свидетельствующие о пробуждении кого-то из домочадцев.

В соседней комнате, во сне, его преподобие сидит совершенно нагой и по-приятельски перекидывается в карты с леди Хэллам. Дидо видит во сне мужчину, который нежно слизывает кровь с ее локтя. Джеймсу снится вишневое дерево, огромное как дом, а сам он сидит на нем и сквозь кудрявую густую зелень смотрит вниз на негра, одетого в темно-красный шелк и атлас, который поднимает вверх руки, чтобы его поймать.

Глава третья

1

Зима 1739 года выдалась особенно лютой: страшный мороз сковал оцепенелую землю, подобно библейскому возмездию, великолепному и убийственному. На реке Уз у города Йорка, как и на замерзшей Темзе, на лед вытаскивают печатные станки для публикации новостей из ледового мира, как будто появилось новое королевство, чудесным образом вдруг накрывшее собою старое. В подвалах

раскалываются бочки от заледеневшего вина и пива; в стойлах на рассвете люди находят замерзшую скотину; некоторым случается видеть странные огни. Хрустит темнота. Вороны и иные птицы падают с небес на землю, словно неподвижные фигуры какого-то удивительного орнамента.

Неистовый, пронизывающий до костей холод собирает свою жатву – бедняков, младенцев, стариков и больных. Детей хоронят рядом с согбенными бабушками и ветеранами Бленема. Лопата могильщика, отлитая в форме сердца, звенит, как топор о железо, а могилы столь неглубоки, что в деревнях на западе страны поговаривали о кладбищенских ворах, пока сторож на церковном дворе в Кенне не застрелил свору собак, растаскивающих по досочкам гроб какого-то нищего.

В Блайнд Ио, деревне, лениво пустившейся в свой путь от стен небольшого средневекового монастыря, а теперь, на тринадцатый год царствования короля Георга II, широко шагающей по тракту от Бристоля до Ковертона – словно гнилые зубы, крепко закусившие полосу дороги, – незаметно почти никакого движения, кроме клубов голубого дыма над соломенными или черепичными крышами и нескольких фигур, кутающихся в длинные пальто и спотыкающихся о дорожные выбоины. Слышно, как каждый шаг отдается в остекленевшем воздухе, виден каждый выдох.

Ко второй дойке на деревню опускаются мрачные сумерки, свет сочится из окон домов.

На холме за деревней над вересковыми полями, похожая на остров, возвышается крепость. Оттуда стороннему наблюдателю, постукивающему, чтобы согреться, сапогами, может показаться, что день исчерпал себя, что деревня готова соскользнуть в долгую ночь, точно баркас в черную воду. Но у берега реки вдруг начинает мерцать огонек, за ним еще два, потом целая дюжина; раздаются чьи-то голоса, крики «Дорогу!», а вместе с ними скрежет, свист и наконец безошибочно узнаваемый звук коньков.

* * *

Люди, катающиеся на коньках, вешают фонари на нижние сучья деревьев. Деревья склоняются, белые и блестящие, над замерзшей рекой. Компания, числом пятнадцать или двадцать человек, скользит по освещенному льду. Одни изящно несутся вперед, звеня режущими лед коньками; руки сложены за

спиной, тела наклонены над избранной каждым конькобежцем собственной ледовой дорожкой. Иные пригнулись, словно хотят поймать огромный мяч, или машут руками, как женщины, складывающие утром белье на ветру. Некоторые головы постоянно исчезают из виду. Слышатся крики, дружелюбные и приветливые, вроде «Д-ь-я-в-о-л-д-ж-о-н!» и «А-л-и-с-а-д-е-р-ж-и-с-ь!», а вместе с ними смех – веселый и пьяный.

На западе прямо над устьем реки подвешена луна, крепкая как кулак. На вересковых полях, на фермах, где навоз сверкает, точно алмазы, собаки лают на эту сияющую луну. Даже коротконогие гончие в Ковертонской усадьбе слепо жмутся друг к другу в своих конурах, образуя бархатную массу, и воют. Люди на коньках тоже ощущают на себе действие луны – безумие в день зимнего солнцестояния, совращающая с пути истинного нулевая отметка года.

О лед разбивается бутылка. Кто-то еле дополз до берега.

– Это ты, Джошуа? – Человек облакачивается о подножие ольхи, кивает; тут его рвет – поток теплого сидра хлещет между коленей. По льду к нему подъезжает молодая женщина с туго повязанной вокруг плеч шалью.

– Ошибаешься, – говорит она, – если думаешь, что я поволоку тебя домой. Никчемный ты человек!

Пьяный не обращает на нее внимания. Ее голос звучит сварливо, но в нем слышны и веселые нотки, и, когда другая женщина, пролетая мимо, подхватывает ее под руку, она с удовольствием уносится вместе с ней.

В воздухе возникает одинокий тоненький звук скрипки. Все с восторгом приветствуют его, и скрипач, старик с шерстяной повязкой на голове, начинает играть попури из танцевальных мелодий, знакомых всем, как звуки их собственного голоса: «Она твоя, приятель», «Попрыгунчик Джон», «Дни веселые придут». Люди, потев на полярном морозе, с новой силой принимаются плясать, падать, хвататься друг за друга. К ним, спускаясь с берега на лед, присоединяются другие. Никто не боится, что лед не выдержит, он тверд, как кость.

Скрипка смолкает. Останавливаются и танцующие, дыхание обволакивает рот, как марлевая повязка. Подняв головы, они смотрят на звездопад. Над Пигз Грин,

над Ледифилд срывается сразу несколько звезд, потом еще раз. Поднимается десяток рук, указующих вверх. Озадаченные неожиданной тишиной, затихают собаки.

У берега под покровом темноты, ярдах в десяти от того места, что освещено фонарем, стоит на коньках Элизабет Дайер. Ей, матери троих детей, двадцать девять лет, и она замужем за йоменом Джошуа Дайером. На этих самых коньках она катается с четырнадцати лет. Непонятная печаль терзает ее последнее время. А сегодня вечером небо такое, что кровь прямо бурлит, и она ужасно боится взмыть в воздух и исчезнуть там, над деревенскими крышами.

Сзади слышатся тихие скрипучие шаги. Она не оборачивается, и, когда чья-то рука – не мужа и не знакомого фермера, рука длинная, легкая и гладкая – забирается ей под шаль и сжимает грудь, она все продолжает смотреть вверх, хотя звездопад уже кончился и небо вновь застыло в привычной неподвижности. Незнакомец торопится, а потому теряет равновесие и, поскользнувшись, падает, увлекая ее за собой. Его тело накрывает ее, лишая воздуха. Оба, сцепившись, извиваются на льду, но ни один не пытается встать. Юбки задираются кверху. Она знает, что у нее достанет сил с ним справиться, сбросить с себя. Но вместо этого она тянется к береговому склону, царапая лед, пока не хватается за корень дерева, холодный, как медь, и держится за него обеими руками – она словно обретает якорь для себя и незнакомца, ибо оба они напоминают неуклюжее судно, раскачивающееся у черного берега. Незнакомец цепляется за ее бедра; несколько толчков, прежде чем ему удастся войти в нее. Через минуту все кончено – полдюжины размеренных движений, боль от вцепившихся ногтей, свистящее сквозь зубы дыхание. Потом неизвестный медленно скрывается в темноте. Ее сорочки, нижние юбки и платье опускаются, как занавески.

Пальцы, обхватившие корень, ооченели, но она не уходит, ждет, когда незнакомец исчезнет наверняка. Ее тело немного дрожит. Ей ясно видится, как какой-то человек быстро удаляется между рядами покрытой изысканным кружевом живой изгороди, через замерзшие, пустые поля. Она поражена своим спокойствием. Зачем было идти на такой огромный и бессмысленный риск? Объяснить это невозможно. Она поднимается, оглаживает сзади платье, стягивает на плечах шаль и скользит назад к свету. Вновь играет скрипач, неуклюже пританцовывая на берегу. Знакомая женщина берет ее под руку и катится рядом.

– Ну не хорош ли этакий мороз для твоей кожи?

– Хорош, Марта, хорош.

– Сегодня твой Джошуа беспокойства тебе не доставит.

– Нет, Марта, не доставит.

И Элизабет легко катится дальше, чувствуя каплю уже замерзшего семени незнакомца на внутренней стороне бедра.

2

Роды начинаются в сентябре в комнате, жаркой от горящего очага и дыхания женщин. Вокруг роженицы собрались миссис Ллуэллин, миссис Филлипс, миссис Риверс, миссис Марта Белл, миссис Коллинз из Яттона, миссис Гуини Джоунз из Фейленда и мать Джошуа, вдова Дайер, которая, закладывая себе в нос табак из Вирджинии, глядит через плечо повитухи. Повитуха вспотела – вместе с потом испаряется и выпитый джин. Почти год у нее не было случая, чтобы померла роженица, что же до этой, то повитуха ничего не обещает. Ребенок никак не выходит, хотя прошло уже несколько часов и она чувствует его головку, пряди влажных волос, напоминающих речные водоросли.

Элизабет Дайер слабеет. У нее побелели губы, и кожа вокруг глаз стала серой. Частенько видела повитуха, как умирают в родах – перестав кричать и отвернувшись лицом к стене. Стало быть, пройдет еще час-другой, и, будь на то воля Божья, мать или дитё умрет, и тогда от нее ничего более не потребуется. Может, дитё и теперь уж неживое.

Лиза Дайер девяти лет от роду стоит, скрытая складками женских платьев, и глядит на кровать. Одной рукой она сжимает пальчики другой, и лицо ее выражает самый обыкновенный ужас. Заметив это, женщины припоминают собственное посвящение в таинство жизни и смерти.

Миссис Гуини Джоунз шепотом говорит:

– Не следует ли послать за мистером Вайни?

Ей отвечает вдова Дайер:

– Мужчина нам здесь ни к чему.

Какое изнеможение! Элизабет не знает, с чем это сравнить, ей не найти подходящих слов. Живот окоченел, ребенок, застрявший в ее утробе куском льда, несет смерть. Холодный соленый пот жжет глаза, стекая по туго натянутой коже и пропитывая тюфяк. Как Джошуа проживет без нее? Кто будет любить детей, как она? Кто будет сбивать хорошее масло? Кто будет растить ягнят, если умрет овца, или чинить рубашки до боли в глазах и пальцах? Ей не вспомнить молитв, ни одной. Голова пуста. Какой-то голос настойчиво твердит, что надо тужиться, тужиться изо всех сил. До чего же они жестоки, зачем заставляют ее страдать? Она кричит – пронзительным, протяжным криком; женщины сгрудились, качнувшись, все, кроме вдовы, которая стоит на месте как вкопанная. Лиза, словно ее ударили кочергой между глаз, падает на пол. Миссис Коллинз помогает ей подняться. Никому не приходит в голову, что девочке лучше уйти.

– Выходит! – кричит повитуха.

– Хвала Господу! – говорит Гуини Джоунз и гладит себя по груди у сердца, выражая радость этим произвольным жестом.

Повитуха вытаскивает младенца, зажимает в кулаке скользкие лодыжки и поднимает его вверх. Весь в крови с головы до пят, он безжизненно свисает с ее руки.

– Живой? – спрашивает вдова Дайер.

Повитуха трясет младенца, и он начинает шевелить ручками, словно слепой пловец или незрячий старик, ощупью пробирающийся к двери. Он не кричит. Не издает ни звука. Женщины многозначительно качают головами. Ни звука. Лиза тянется к нему. Повитуха перерезает пуповину огромными ржавыми ножницами.

Через три дня младенца крестят. Джошуа, вдова, Лиза и крестный отец фермер Моды собираются в церкви. Элизабет слишком слаба, чтобы встать с постели. Из ее груди течет ненужное молоко. Ребенка кормит кормилица, женщина с кожей как у акулы.

Хотя уже середина дня, в церкви так темно, что пришедшие едва видят друг друга. Ребенок явно не жилец. В этом уверила всех вдова Дайер. Ни один здоровый ребенок не будет так странно себя вести. Чтобы не издать ни единого звука за три дня! Спит, просыпается и ест; ну хоть бы разочек заплакал. На голове дюжина шелковых черных кудряшек. Небесно-голубые глаза. Вдова говорит, коли умрет, будет лучше. Священник, припозднившись после обеда, наконец появляется, выпускает, как можно незаметнее, газы, берет младенца на руки, спрашивает у Моды, отрекается ли он от деяний дьявола, и нарекает мальчика Джеймсом Дайером. Для этого хилого существа одного имени вполне достаточно, да и на долю камнереза придется меньше работы.

В купели нет воды. Священник плюет на пальцы и рисует на лбу младенца крест, чувствует, как тот шевелится, и передает ребенка девочке. Джошуа Дайер роется в кошельке, кладет деньги в ладонь священника, печально и неловко кивает. Они бредут домой по убраным полям. Лиза крепко прижимает мальчика к груди.

В доме слышат, что с тропки между полей доносится знакомый лошадиный топот. Лиза бежит к окошку. Вдова Дайер поднимает голову от штопки, выпрямляет свое грузное тело и торопится к огню. Там, в самом центре, в горящие угли воткнута кочерга. «Не надо, – Элизабет пытается ей помешать, – давайте я». Но пожилая женщина не обращает на нее внимания, вытаскивает кочергу, замотав руку обожженной тряпкой. Рядом уже стоит наготове миска с пуншем. Вдова опускает конец кочерги в жидкость, и сразу же раздается яростное шипение. Звук этот будит ребенка, который спал на стеганом одеяле, расстеленном на квашне. Ребенок видит толстую женщину у огня, смотрит, как

она макает в пунш палец, потом отламывает от сахарной головы кусочек и размешивает его в миске.

– Он любит сладенькое. Обед-то готов? Оголодал, наверно, – чай, целый день на рынке.

Дети постарше уже сбегали к крыльцу посмотреть, как по тропке едет отец. Теперь, через кухню, они помчались к черному ходу, через который, они знают, он войдет, когда поставит на конюшню лошадь. Через минуту слышатся тяжелые шаги, и ребята принимаются толкать друг друга, чтоб протиснуться поближе к двери. Щелкает железная щеколда, потом открывается кухонная дверь, и струя зимнего воздуха врывается в кухню.

Дети со всех сторон обступают отца, а он, подождав немного, закрывает дверь и протискивается в комнату. Вдова Дайер наливает пунш в кружку и подает сыну. «Пройди к огоньку, сынок», – говорит она, хлопотливо подталкивая его к очагу. Что за ящичек зажат у него под мышкой, она не спрашивает. Джошуа с подчеркнутой осторожностью ставит ящик на край стола, потом залпом выпивает свой пунш. Остальные, расположившись полукругом, не сводят с него глаз. Он принес с собой кусочек неведомого мира. От глубоких полузамерзших складок его пальто сильно тянет запахом лошади, кожи, табака. И морозным, дух захватывающим ароматом самой ночи.

Сара, теперь, когда родился мальчик, уже больше не младшая, встает на цыпочки и с интересом дотрагивается до ящика. Лиза, пристыдив, оттаскивает ее. Джошуа улыбается старшей дочке и, поддразнивая, спрашивает:

– А ты бы хотела заглянуть туда хоть одним глазком, дочка?

– Выходит, ты продал гусей, батюшка, – говорит Лиза.

Он смеется и поднимает кружку:

– Ты все о делах, Лиза. Ну, тогда налей еще. Здравствуй, жена.

Элизабет кланяется. Она запеленала младенца и держит его на руках. Джошуа поворачивается к матери:

– Взял хорошие деньги за птицу.

Элизабет прикидывает, много ли выпил Джошуа на рынке. Она хорошо помнит ночь, тому полгода, когда муж свалился с лошади по дороге домой и весь его правый бок покрылся фиолетовыми синяками. Она помнит, как, стелая, он лежал на столе и в доме не было ни минуты покоя, пока не пришел Вайни с компрессами и настойками.

В этом году он старается держать себя в руках, но ящик – с виду такой тяжелый и дорогой – вызывает у нее беспокойство. Элизабет знает, о чем думают мужчины вроде Джошуа. И отец ее был такой же. Всю ночь готов торговаться о цене на овцу или мешок яблок, но только покажи ему что-нибудь новое, необычное, и он выбросит на ветер все деньги, словно ему герцог наследство завещал. Чего удивительного, что шарлатаны и фокусники никогда не остаются внакладе. Ездят на прекрасных лошадях, покрытых прекрасной попоной.

– Так, значит, ты что-то купил, – говорит она, – что-то полезное.

Краем глаза Элизабет видит, как хмуро уставилась на нее вдова. «Да», – настаивает она, заметив, что краска прилила к лицу мужа. Он смотрит на нее злобно и оскорбленно, что в первые годы супружества частенько приводило к обмену тумаками, а следом – к постели. Тогда ее язвительность только обостряла их любовный пыл, но работа, болезни, дети, постоянная борьба с непогодой, уход за животными, которые только одно и знают, что умирать, все это лишило их вкуса к жизни, и сейчас они живут лишь судорожно, урывками. Мгновение они не отрываясь сверлят друг друга глазами, затем Джошуа поворачивается к ней спиной и протягивает руки к огню.

– Есть, – требует он.

Дети тихонько расходятся.

* * *

Джошуа ест. Обед его утихомиривает. Закончив, он утирает жирные губы и раскуривает трубку от тонкой свечи. Тянется через стол и придвигает к себе ящик, который оказывается теперь между ним и Лизой. Он завернут в дерюгу и

распространяет резкий запах промасленной шерсти. Ножом, которым только что ел, Джошуа разрезает веревку и подталкивает его к дочке со словами:

– Это для всех вас, но раз уж девчонка самая старшая и самая рассудительная, то он будет храниться у нее, а она станет показывать вам, когда пожелает. – И, обратившись к мальчику: – Поднеси свечу, Чарли. Вот так. Ставь с ней рядом.

Лиза с важностью маленькой королевы, рассматривающей дар чужеземного посольства, снимает дерюгу и обнаруживает полированный деревянный ящик размером аккурат в семейную Библию. Спереди медная защелка. Лиза поднимает глаза на отца.

– Ну, открывай же, детка, – говорит Джошуа. – Сам-то, поди, не откроется.

Лиза возится с замком, он поддается, ящик открывается, и девочка смотрит внутрь, а потом на окружающих. На всех лицах, за исключением отцовского, написано такое же возбуждение и любопытство, как на ее собственном. В ящике находится деревянный круг белого цвета, от которого сверху тянутся тонкие проволочки и шары разных размеров и цветов: красные и синие, один черно-белый, а один – тот, что больше других, – золотой. По краю белого круга идут названия месяцев и изображения знаков зодиака. Сбоку – ручка, как у кофемолки.

Лиза проводит пальцем по золотому шару.

– Ишь, горячее, – говорит Джошуа, сияя от удовольствия.

– Ишь, горячее, – повторяет девочка.

– Летом – горячее, зимой – холодное. Целый день видать, а ночью нету, – он придумал эту загадку по дороге домой и теперь очень доволен собой.

– Поняла! – Элизабет на минуту забыла о потраченных деньгах. Всплеснула руками. – Это Солнце, это наш мир... а это Луна?

– А вот это Меркурий, – объясняет Джошуа. – Это Венера. Венера значит любовь, а Меркурий что-то там еще. Поверни вон ту ручку, Лиза. Так, правильно, – он

покрывает Лизину ладошку своей. – Видишь?

Зубцы скрытого механизма сцепляются и поворачиваются. Шары начинают двигаться, каждый по своей дорожке, медленно и торжественно, словно епископы, танцующие менуэт. Дети сидят не дыша, словно замороженные.

– Все это зовется планетарий, – говорит Джошуа почти шепотом. – Такое греческое слово.

Вдова Дайер с умным видом кивает; Сара и Чарли требуют своей очереди покрутить, во влажных глазах младенца тихонько вращается игрушечная вселенная – Рак, Лев, Дева – месяц за месяцем, год за годом.

Это самое раннее воспоминание Джеймса Дайера.

5

Первый доступный ему мир – кухня. Огонь, бьющийся в каминный прибор, отблеск, дрожащий на обратной стороне медных сковородок. Уютная бойня, на коей небесные, полевые и речные твари ощипываются, потрошатся и обжариваются на огне. Служанка Дженни Скерль, этот алхимик плоти, колдует над тушкой кролика или огромного белоснежного гуся; пальцы у нее толстые, как бутылочное горлышко, они рвут, выскабливают, режут, выдирают внутренности и набивают нежную утробу луком, крутыми яйцами, шалфеем, петрушкой, розмарином, нарезанными яблоками, каштанами. Чтобы позабавить ребятишек, она чистит угрей живьем.

Джеймс живет в нижних пределах этого мира, ползает по каменному полу под кухонным столом, где тощие, безымянные кошки, которые всегда умеют добиться своего, охотятся за двигающимися тенями. Кошки сидят неподалеку и наблюдают за летящими по воздуху перьями и сыплющейся мукой, дерутся с ним из-за упавших кусочков пищи, видя в Джеймсе гораздо более серьезного противника, чем его предшественники. Никем не замеченный, он проводит здесь полдня, следя за женскими деревянными каблуками и укутанными в шерстяные чулки лодыжками под волнами нижних юбок, колышущихся будто морской

прибой – туда-сюда, туда-сюда. Они никогда не стоят на месте.

Потом, после множества безмолвных падений, он уже знает, как забраться на кухонные табуреты, и сидит там, едва доставая ногами до края сиденья, без единого звука принимая тумаки и ласку, хлебные или бисквитные крошки, которые ему перепадают. Немота ребенка все больше и больше привлекает внимание взрослых. Некоторые считают его дурачком, безмозглым идиотом и, тетешкая его на коленях, обращаются к нему как к собаке. Женщины ласкают его за голубые глаза, за смешной серьезный взгляд. Если он остается с Лизой, его лицо становится влажным от поцелуев. А сам он неподвижно сидит у нее на коленях, ни на что не реагируя, будто паук в углу или звезда в небе. «Мальчик переменится, дайте время, – говорит Элизабет. – Дайте только время. Ведь и Сара отставала от других детей, бормотала что-то непонятное. А теперь говорит хорошо, даже слишком много». Она смотрит на Джеймса так, словно первыми его словами станет обличение матери. Она наставила тебе рога, Джошуа Дайер! При звуках шума, доносящихся со стороны деревни, она с ужасом ждет «грохочущего оркестра», брызжущего ненавистью шутовского представления, которое обычно разыгрывают под окнами прелюбодейки. Господь простит, но она несколько раз пыталась выкинуть ребенка, у нее ведь и раньше бывали выкидыши. А два последних случились на четвертом месяце. Но этот оказался упорным, прямо-таки вцепился ей в живот. И сейчас своими голубыми глазами и молчанием, громким, будто рог охотника, он хочет пристыдить ее. Что до старухи-вдовы с грубым лицом, глазами как у хорька и нюхом, помогающим ей чують правду, она все-таки не решается обвинить Элизабет открыто. Но глядит сначала на мальчика, а потом на невестку с таким выражением, что никаких слов и не требуется.

* * *

Ребенок растет, и мысли матери становятся все мрачнее. Она ощущает присутствие тьмы: то злобный огонек мелькнет в глазах барана, то ветка хлестнет по лицу, то муха проползет по белой коже запястья. Она вспоминает руку незнакомца, длинную и легкую, и строчки песенки, которую пела еще девчонкой: «Дьявол – это джентльмен, что пляшет лучше всех...»

Однажды, когда мальчику идет уже третий год, сидя с ним одна и наблюдая, как он смотрит вокруг спокойным, пустым взглядом, словно понимая все или не осознавая ничего, она изо всех сил щиплет его за руку – так вонзает в него

ногти, что того и гляди появится кровь. И когда он поднимает на нее глаза, в которых читается всего лишь вопрос, а потом спокойно переводит взгляд на свежие узкие вмятины на своей руке, Элизабет переполняют ужас и отвращение. Однако паника стихает, и ее захлестывает нежность. Какой он красивый! Как невероятно печален, как отгорожен от мира своим молчанием. Элизабет обнимает мальчика и зализывает отметину, которую сама же оставила на руке, правда, совсем убрать ее не удастся, и спустя долгое время она все еще видит этот след – напоминание о своем стыде, ужасе и любви.

Иногда она боится, что вдова скажет словечко Джошуа, хотя обе они прекрасно знают, что Джошуа поверит только тому, чему захочет верить, то есть тому, что его устраивает: жена ему верна и любит его так же, как и он ее. Как положено, раз в день Джошуа справляется: «Ну что там мальчик?» – однако ответа не ждет. И не вырезает вечерами деревянных игрушек и волчков, как делал это для других детей.

* * *

Безмолвно, под покровом взрослых переживаний, мир Джеймса становится все больше. Его сознание, освоившее образы огня, кошек и нарисованных солнышек, теперь наполняется жизнью фермы. В поношенных бриджах из кроличьей кожи его вводят в медленно текущий быт двора, где он наблюдает, как кудахчут куры и пауки плетут паутину вокруг петельечно вечно открытых заклиненных дверей. Он узнает запах липы в полях, различает заячьи следы на снегу, слушает молотильщиков, чьи голоса кажутся призрачными среди пыли и теней амбара и чьи ноги обуты в старые шляпы, чтобы не разорвать солому, которая понадобится потом, чтобы крыть кровлю.

Он знакомится с Томом Перли, прозванным «человеком-клубникой» из-за огромной красной бородавки у него на шее. Том ведет мальчика посмотреть на свинью, которую они находят во фруктовом саду, – большую, белую, с огромными ушами; у нее изо рта пахнет яблоками, капустой и скисшим молоком из отходов маслодельни. Он смотрит, как свинью режут, как мужчины разминают руки и сжигают свиную щетину соломенными факелами.

Дженни Скерль водит его гулять в сад. У живой изгороди за домом она целуется с Бобом Кетчем, Дэном Миллером или Диком Шаттером. Боб Кетч тискает ей грудь, и она вздыхает так, словно ей грустно. В мае она украшает цветами

волосы, себе и мальчику. Волосы у Джеймса пушистее, чем у Дженни, а зимой даже золотятся. Его глаза так и остались голубыми, хотя все надеются, что они потемнеют и станут карими, как у остальных детей. Мистер Вайни, заглянув к ним как-то раз, сообщает Джошуа, что такое случается: один голубоглазый ребенок в семье; редко, но случается.

* * *

Когда мальчик подрастает, его переселяют из родительской комнаты в соседнюю. Она небольшая. Там по обе стороны окна положено по два тюфяка и стоят два деревянных сундука для детских вещей. В углу небольшой камин, а на стене над Сариной постелью висит нарисованная девочкой картина – плоская рыжая корова на фоне гладкого голубого неба.

Что означает для мальчика проснуться – проснуться, когда мир снаружи больше похож на ночь, нежели на день? Это означает услышать цоканье и царапанье подковы, приглушенный голос паренька, который обычно водит лошадь по пашне, или конюха – они разговаривают с Дженни, когда она выходит из дверей маслодельни, чтоб приняться за дойку. Немного погодя Джеймс слышит родителей. Сапоги отца грохочут по дому, мать что-то шепчет. Потом свет от горящей свечи тонкой полоской пробивается из-под двери, дверь тихо открывается, и старшие дети, Чарльз и Лиза, дрыгают ногами в мятых ночных рубашках, затем быстро-быстро натягивают на себя одежду и, ни слова не говоря, спускаются вниз по лестнице следом за свечой.

Затем Лиза возвращается, от ее рук пахнет сливками и дымом, мускусом и навозом. Холстиной, смоченной колодезной водой, она моет младших – Джеймса и Сару, – протирая мельчайшие складочки на их лицах своими ласковыми, но сильными руками. Так начинается день. С окрестных дворов и полей доносятся десятки знакомых звуков: кто кличет собак, кто сзывает стадо, а кто здоровается с соседом. Пилы, молотки и топоры принимаются за работу. Стая голубей, кружа, летит из хлева Ковертонской усадьбы; бедняки, дюжина вдовых, сырых и немощных, поднимаются со своих соломенных постелей, бредут к дому приходского попечителя по призрению бедных или стоят, склонив голову, у соседских дверей в ожидании кружки теплого молока пополам с грубым словом или куска вчерашнего хлеба.

В царствование королевы Анны леди Денби подарила деревне Ио небольшое здание под школу. Учителя в ней обычно преподавали либо очень молодые, либо очень старые, либо какие-то ущербные. Септимус Кайт, на коего ныне возложена эта обязанность, проживает в двух маленьких комнатах в глубине дома. Здесь стоят его маленькая кровать и маленький стол, здесь он ест, спит и попивает настойку опия. У него есть помощница, хромая старая дева из деревни, мисс Лакет. То, что ей причитается за помощь учителю и за проданные джемы собственного изготовления, удерживает ее до поры до времени от церковной паперти.

Все дети Дайеров посещали школу, но лишь тогда, когда в них не было особой надобности для работы на ферме. Джеймс в первый раз отправляется туда вместе с Лизой, хотя она давно уже закончила учебу. Они идут по дорожке вдоль кустов боярышника, нежные зеленые листочки которого дети любят жевать по весне. Школа стоит в стороне от дорожки, ее необожженные кирпичи все еще кажутся совсем новыми по сравнению с посеревшими от времени стенами монастыря. Лиза представляет мальчика мистеру Кайту. Учитель смотрит сверху вниз, хмыкает и спрашивает:

- Это тот, который не говорит?

- Еще не говорит, сэра, - объясняет Лиза. - Но все хорошо понимает.

- Посади его сюда, - велит Кайт. - Побольше бы мне таких.

Место Джеймса - на скамье у окна. Лиза кладет теплую печеную картошку ему в карман со словами:

- Делай, что тебе скажут, Джем.

Она уходит. Мальчик не оборачивается.

Мисс Лакет, у которой одна нога на три дюйма короче другой, передвигается, смешно ковыляя, и дети, следуя за ней по дорожке в школу, вечно ее передразнивают. Но учитель она сердечный и добросовестный. Молодые

мужчины и женщины с детьми на руках всегда смущенно останавливаются с ней побеседовать, напомнить, как их зовут, хотя она и без того никого из них не забывает.

Мелом на грифельной доске она обучает Джеймса писать буквы. По-своему он очень способный мальчик, но есть в нем что-то такое, от чего мисс Лакет делается не по себе. Она всегда с гордостью утверждала, что достаточно ребенку походить в школу месяц, и она уже знает, на что он способен, как будет ладить с другими детьми и каким станет в будущем. Что до Джеймса, то и спустя полгода ей так же непонятен его характер, как когда он только переступил школьный порог. Он не пользуется особой любовью других детей, это ей известно, но его никогда не дразнят. Старшие мальчики крепко подумают, прежде чем начать задираться. В нем есть какая-то независимость, надменность, неестественные для шестилетнего мальчика; ничего подобного она не замечала ни у его брата, ни у сестер, капризных и нетерпеливых, как все дети. Конечно, до нее докатились сплетни, смутные слухи, витавшие вокруг Элизабет Дайер после рождения мальчика.

Может, ребенок несчастлив, думает она и, будучи сама большим специалистом по этой части, пытается своими взглядами и жестами дать мальчику понять, что он ей небезразличен, но, похоже, он ничего не воспринимает. У него отменные навыки практической работы. Шьет гораздо ровнее, чем девочки, и все швы такие маленькие, как мошки. Хорошо рисует, а точнее, очень аккуратно копирует, причем никогда не полагаясь на воображение. Его совсем не интересуют истории – вот с этим ей раньше не приходилось встречаться. Они словно сбивают его с толку, и, когда погожими днями, растянувшимися, точно огромные голубые или серые озера над вересковыми полями, она читает в классе «Путешествия Гулливера» или рассказывает сказки про Уилтширских простаков или про Мальчика-с-пальчик, лицо одного лишь Джеймса ничего не выражает; взгляд его пуст, почти как у слабоумного.

В школе есть мальчик, на год старше Джеймса, Питер Паундсет, над которым любят издеваться другие дети. Ничем особенным от прочих учеников он не отличается. Не толстый и не худой, с правильными чертами лица. Для своего возраста довольно силен, не хуже других может бросить мяч или перепрыгнуть через канаву. Отец у него плотник, мать печет великолепные пирожные, и дом их далеко не самый бедный в деревне. Но дети словно видят в нем особые приметы, какие находят пчелы на некоторых цветах, приметы, скрытые от глаз взрослых. И они коверкают его имя, превращая его в абракадабру, в детские

непристойности, крадут у него завтрак и выбрасывают в реку. Швыряют ему в спину навозом. Про него говорят, что он имеет сношения с домашними животными, ворует у других стеклянные шарики и пенсы и так отвратительно ругается, что невозможно слушать. Самые злобные обвинения исходят как раз от тех, кто травит его с особой беспощадностью. Известные воришки обвиняют его в воровстве, драчуны – в том, что он их толкнул, а те, кто ловит мальчика и сдирает с него бриджи – такое случается по крайней мере дважды за зиму, – скорее всего, обвинят его именно в этом проступке по отношению к ним. Ребята так и вьются вокруг мисс Лакет, а те, что похрабрее, вокруг мистера Кайта в надежде, что их жертву высекут. Часто их наговоры оказывают свое действие, и Питера Паундсета укладывают перед всем классом на стул, а мистер Кайт начинает орудовать полуметровым ремнем из выделанной кожи, который обыкновенно висит на гвозде рядом с портретом леди Денби.

В таких развлечениях Джеймс не участвует, хотя и наблюдает за ними со стороны, задумчиво сдвинув брови. Это, полагает мисс Лакет, признак не столь уж злого сердца. Так думает и Питер Паундсет, который, в отчаянии ища союзника, выразительно поглядывает в сторону Джеймса и делает по велению сердца то, чего никогда бы не сделал от жадности или страха, – крадет кусочки съестного и пенсы, спрятанные в коробке под родительской кроватью, и приносит их Джеймсу, а тот либо принимает дары, либо отвергает в зависимости лишь от того, нужны они ему или нет. Питер Паундсет трепещет в надежде. Мучители отступают.

Проходит месяц. Дети выжидают. За ним второй. Нападать на Питера никто не решается. Словно Джеймс очертил мальчика кругом, а дети, хоть и подошли к самому краешку, ступить за черту боятся.

Наконец решились. Это происходит в пятницу утром на перемене, за неделю до закрытия школы на время сбора сена. Китти Гейт, толстая десятилетняя дочь кузнеца, швыряет камнем в ногу Питеру Паундсету, который сидит на корточках рядом с Джеймсом; они играют в стеклянные шарики у монастырской стены. Джеймс слышит, как стукнул камень и охнул Питер, он смотрит на него, потом на Китти. Не сводя глаз с Джеймса, девчонка медленно тянется за другим камнем. Джеймс отворачивается. Его очередь играть. «Джеймс?» – шепчет Питер. Потом еще раз, уже громче: «Джеймс!» Ответа нет. Китти поняла если не все, то достаточно, чтобы действовать. С радостным воплем она изо всей силы кидает второй камень и попадает своей жертве прямо в лицо, рассекая Питеру нижнюю губу и мгновенно превращая ее в кровавую розу, чьи бархатистые

лепестки брызгами опадают ему на рубаху.

Эту сцену наблюдает из окна классной комнаты мисс Лакет. И вот она с ремнем в руке уже выбегает из дверей, точно хромая фурия. Она боится, что не успеет их догнать, но при виде разбитого лица Питера Паундсета Китти так и замерла, и о появлении мисс Лакет девчонка узнает только по обжигающему удару ремнем по спине, валящему ее с ног. Но не Китти – главная цель мисс Лакет. Она спешит к стене, припадая и выпрямляясь, делая упор на здоровую ногу, – туда, где стоит Питер Паундсет, а Джеймс, предавший его, спокойно наблюдает за ее приближением. Больше всего ей хочется полоснуть его ремнем по физиономии, чего раньше она никогда не делала, да и сама эта мысль никогда не приходила ей в голову. Задыхаясь, она останавливается перед Джеймсом, замахивается, но, когда встречаются их взгляды, все ее бешенство улетучивается. Голубые, как васильки в окрестных полях, его глаза не выражают никакого коварства. То, что она видела в нем раньше, не было добротой. Но и то, что открылось ей сейчас, не злоба. Несколько секунд они смотрят друг на друга. Потом она отворачивается, берет Питера Паундсета за шиворот и ведет в школу. Мальчик, точно теленок, которого пытались зарезать неумелой рукой, тащится рядом с ней, плача и обливаясь кровью.

7

Страда. Деревня готовится к ней, как армия к битве. Джошуа Дайер набирает в помощь людей, сколько может. Девять пенсов в день и необходимое питание каждому, да еще по пенсу мальчишкам и женщинам. Почти каждый год ему хватает местных жителей из тех, что победнее; они являются к Дайеру, когда соберут причитающуюся им долю с земли, что осталась от общинного луга. Но время от времени пополнение приходит с дороги – солдаты и даже матросы, дезертировавшие, охромевшие или распущенные по домам после Деттингена[10 - Деттинген – место на р. Майн (сейчас – территория Германии), где во время «войны за австрийское наследство» (1740–1748) в 1743 г. англичане под командованием Георга II разбили французов.], Фонтенуа[11 - Фонтенуа – селение в Бельгии (пров. Зап. Фландрия), в районе которого 11 мая 1745 г. во время «войны за австрийское наследство» произошло сражение французской армии с англо-голландско-ганноверскими войсками. Французские войска одержали победу, потеряв около 6 тыс. человек, союзники же потеряли до 14 тыс.] и Каллодена[12 - Каллоден – местность в Шотландии, где в 1745 г. произошло

сражение, закончившееся поражением сторонников династии Стюартов и положившее конец их попыткам вернуть трон.]

В страду 1749 года вдова Дайер несла работникам в поле хлеб с сидром, и по дороге ее разбил паралич. Вдову обнаруживает Джеймс, которого послали узнать, что случилось с едой, – старуха лежит, растянувшись на тропинке, будто гора белья. Картина кажется мальчику любопытной. Дважды он обходит вокруг, разглядывая толстые икры, выбившиеся из-под льняного чепца волосы и большое лунообразное налитое кровью лицо. По ее щеке разгуливает трупная муха.

Он ждет, что сделает вдова; может, к примеру, помрет. Она шевелит губами, беззвучно моля о помощи. Проливая сидр на подбородок, мальчик пьет из оброненной бутылки. Потом идет за матерью.

Восемь человек, едва дыша и еле передвигая ноги, втаскивают вдову в дом. Укладывают на низенькую кровать на колесиках, что обычно задвигается под большую кровать, но теперь поставлена в общей комнате, посылают за пастором, который в свою очередь посылает за викарием, и тот, вспотев, прибегает с поля читать молитву над умирающей. В ожидании, когда вдова отойдет, вокруг кровати собирается семья. Дыхание вдовы похоже на звук, который издает мешок с углем, если его тащить по каменному полу, но к вечеру ей становится легче. Чарли отправляют в Медердич за мистером Вайни.

Тот приезжает. В темноте его кобыла кажется белой как молоко. При свете свечи, которую Джошуа держит у лица матери, Вайни осматривает вдову и, отворяя ей кровь, говорит: «Пусть остается там, где положили. Коли переживет ночь, пошлите за мной снова. Нынче самое подходящее для нее лекарство – молитва». Затем он выпивает на пару с Джошуа стаканчик сидра, садится в седло и удаляется по тропинке в темноту.

Всю ночь Джошуа и Элизабет сидят в общей комнате. Элизабет что-то шьет. Дом успокаивается, вздыхает; вдова дышит со свистом и клокотанием. На рассвете она все еще жива. Поскольку Чарльз нужен в поле, за аптекарем посылают Джеймса.

* * *

До Медердича час неторопливой ходьбы. Дом Вайни, весь увитый плющом, стоит на окраине деревни. Дверь открывает тетушка Вайни, с которой в свое время вдова любила посплетничать. Она читает написанную Лизой записку, где объясняется, зачем прислали Джеймса, и ведет его в дом. Велит прислуге позвать аптекаря, а сама стоит и с интересом разглядывает ребенка. Так вот он каков, ублюдок Элизабет Дайер, ее позор. Люди говорят, немой. Нет, не нравится он ей нисколечко. Ублюдку надлежит быть смиреннейшим на белом свете созданием. А этот разглядывает ее, точно кухарку.

– Тебе известно, кто ты? – говорит она. – Тебе известно, кто твоя мать? Сказать ли тебе, мальчик? Сказать?

Тут входит Вайни. Его лицо – пронцательное, озабоченное и добродушное – покраснелось от жары. Тетушка протягивает ему записку и выходит из комнаты. Он читает, нацепив на нос складные очки, и кивает головой со словами:

– Стало быть, у нас есть надежда. Ну что же, мальчик, будем ее лечить, как думаешь?

Жестом он показывает Джеймсу, чтобы тот шел следом за ним. Они выходят в коридор, а оттуда к двери. Комната согрета солнечным светом, который пробивается сквозь полуоткрытые ставни. Просторная комната, но вся загромождена склянками и прочими предметами, связанными с аптекарским делом. Джеймс поводит носом. Чувствует запахи, ни на что не похожие. Что-то горькое, металлическое, но вместе с тем сладкое, как будто аптекарь перемешал цветы и наковальни, порох и тухлые яйца, дабы получился единственный в своем роде отвратительный запах.

В центре комнаты стоит верстак, уставленный ступками, обливными банками, закопченными ножами. Там же доска, на которой катают пилюли, кучка крабовых клешней, человеческий череп и несколько книг с мятыми желтыми страницами, когда-то, похоже, облитыми водой. С потолка свешиваются пучки сушеных трав.

– А теперь, мальчик, – произносит Вайни, – выберем-ка что-нибудь, чтоб излечить вдову. Пожалуй, настойку бурачника. – Он тянется рукой вверх и берет пясть голубых цветов-звездочек. – И что-нибудь очищающее. Когда болезнь точит

тело, ее следует изгонять. – Он берет листья сенны и имбирь. – Мое искусство – не трогай это! – состоит в посредничестве между человеком и природой. Сие искусство было дано нашим предкам от Бога... Да... подай-ка мне тот горшок... Так что врачевание – занятие священное... поставь его на печь. Высокомерие нынешних врачей приведет к беде. Без подобающего смирения нельзя ни лечить – это легкое лисицы, – ни лечиться. Вот так-то. А теперь вода вытянет из растений все нужное. Ты хороший помощник, Джеймс. Я скажу об этом твоему отцу.

По дороге в Блайнд Ио Джеймс сидит перед аптекарем, вцепившись пальцами в жесткую кобылью гриву. От жителей деревни слышится: «Добрый путь, мистер Вайни!», «Всего вам хорошего, сэр!», «Неужто это маленький Дайер таким молодцом сидит с вами в седле?»

* * *

Хождение за лекарством в Медердич и обратно стало главной обязанностью Джеймса. Все больше и больше времени он проводит в комнате аптекаря, наблюдая, а затем помогая готовить микстуры, мази и полоскания. Он уже знает, как скатать пилюлю, сделать из яичного желтка эмульсию, приготовить лавандовое, гвоздичное и имбирное масло. Сам Вайни больше поглощен металлами, просиживает у плавильного тигля и печи с пирамидами цифр. Не раз приходится им удирать в сад от клубов ядовитого дыма и вдыхать полной грудью свежий воздух, пока тетушка в ужасе машет на них веером.

Вопреки ожиданиям вдова оправляется от болезни, хоть теперь она нема, как и мальчик, навеки потеряв свой голос где-то там, над летними полями. К Рождеству она начинает вставать с постели, спина у нее покрыта следами от пролежней, лицо похудело, кожа на нем обвисла. Походы в Медердич больше не требуются. Сейчас, как никогда раньше, мальчик живет своей жизнью, то появляется, то тихонько исчезает. Его молчание, немое безразличие воспринимаются как дерзость, нахальство. Впадая в настоящую ярость, Джошуа его бьет. Даже Элизабет обращается с ним холодно, негодуя, что ребенок привлекает к себе слишком много внимания, а тем самым к ней и прошлому. Однажды утром она смотрит, как он карабкается по стене крепости, словно жестокий маленький дикарь, и думает: «Вот бы он не останавливался. Вот бы он так и карабкался, выше и выше. Вот бы мне больше его не видеть».

Но сердце ее сжимается от боли.

8

Лето 1750 года. Год лондонских землетрясений. Самое жаркое лето в жизни мальчика, зной стоит еще сильнее, чем в сорок восьмом, когда на поля напала саранча. Джеймс лежит на животе на склоне холма, наблюдая за приготовлениями к свадьбе в саду под ним. Еле узнаваемые маленькие фигурки снуют, держа что-то в руках, в дом и обратно. Он не слышит, как по мягкой траве тихими шагами к нему приближается незнакомец. И вот чужая рука хватается его за шиворот и ставит на ноги.

Незнакомец разглядывает Джеймса, потом, ослабив хватку, говорит:

– Хороша птица, хоть сейчас в мешок! Прячешься, парень, или шпионишь? Ты местный?

Джеймс вырывается, трет шею, кивает.

– В таком случае, Проказник Робин, я тебя нанимаю. Которая тут ферма Дайера?

Джеймс указывает вниз. Незнакомец прищуривается, обмахивается шляпой, плюет на пчелу. Некоторое время прикидывает, стоит ли в этом месте спускаться. Наконец говорит: «Тогда пошли», и они идут вниз зигзагами по направлению к овцам, пасущимся в тени вяза, рядом с воротами, что ведут на дорогу. По пути Джеймс украдкой посматривает на незнакомца: небесно-голубые глаза, оспины на коже, на плечи сыплется пудра с парика из козлиной шерсти. Кафтан украшен ленточками, но трудно представить себе, чтобы этот человек был знакомым Джошуа и уж тем паче Дженни Скерль или Боба Кетча. Не фермер, это точно, но и не коробейник, у него ведь нет с собой коробка. На джентльмена тоже не похож. Более всего он напоминает Джеймсу актеров, два года назад дававших представление на ферме Моды, а он наблюдал через дыру в доске сарая, как они переодевались, плясали и орали друг на друга в крысином мраке.

Выйдя на дорогу, незнакомец начинает говорить громче, как будто, несмотря на опасения, внушаемые ему округой, он не хочет показаться чересчур осторожным.

– ...Свадьба, мальчик, о, это самая прекрасная вещь на свете, самая удивительная, если, конечно, ты не принадлежишь ни к одной из сторон. Ты когда-нибудь бывал на свадьбе? Своих родителей, к примеру?

Джеймс трясет головой.

– Похороны, однако, предпочтительнее. Парень в приличном платье может спокойно жить годами за счет одного лишь тщеславия покойника. Однажды я был на похоронах в Бате. Хоронили известного игрока, который...

Незнакомец останавливается на дороге рядом с тропинкой, ведущей к ферме. Наклоняется. Вглядывается в лицо мальчика.

– Сдается мне, дружище, ты не вылеплен из грязи с соломой, как некоторые поселяне. Ты мне даже кого-то напоминаешь. Не приходилось ли тебе бывать в Ньюгейтской тюрьме? На флоте? В исправительном доме Брайдуэлл? Нет... Знать, мне померещилось. Скажи-ка мне, есть у тебя в кармане деньги? Может, хоть пенс?

Джеймс мотает головой. Незнакомец пожимает плечами:

– Ну нет так нет, ибо в этом мы схожи. Ходишь в школу?

Кивок.

– Умеешь читать?

Кивок.

– Господи Иисусе, приятель, с большим толком я мог бы побеседовать со своей шляпой. Ты что, вообще не говоришь?.. Ага, существо кивает. Ему нравится быть немым?.. Не знает. А где существо живет?.. Смотри-ка! Показывает... Здесь? Здесь! Так Дайер твой отец?

Прежде чем Джеймс успевает пошевелиться, незнакомец сжимает его лицо в ладонях и разглядывает, точно портрет. Руки у него пахнут табаком. Он смеется, и его смех больше похож на лай. «Будь я... будь я...» – шепчет он.

С дороги доносятся голоса. Это свадебный поезд, покрашенный свежей желтой краской, поворачивает с Церковной улицы, в нем сидят Дженни Скерль и Боб Кетч и еще полдюжины гостей, которые поют, кричат и пускают по кругу бутыль.

Незнакомец еще секунду смотрит на мальчика, потом быстро уходит по направлению к саду, шлепая на ходу оторванной подошвой на башмаке.

* * *

Джеймс бежит в дом. Потные женщины хлопчут на кухне. Незамеченный, он поднимается вверх. Сара, Лиза и Чарльз уже давно переоделись. По кроватям разложена их будничная одежда. Теперь, когда дети выросли, комната разделена занавеской. Джеймс теревит в руках шерсть сестриных платьев и деревянные гребни, в которых золотятся на солнце Сарины рыжие волосы. Сара – красавица. Полдеревни влюблено в нее, на коре дюжины деревьев вырезано ее имя. Мужчины и юноши так и вьются возле нее, одурманенные страстью, даром что Джошуа громко поминает свое короткоствольное ружье с раструбом, заряженное ржавыми гвоздями.

Воздыхатели есть и у Лизы, но она относится к ним столь сурово, что большинство отступают в надежде найти более нежное сердце и более легкую добычу где-нибудь в другом месте. По правде говоря, ее привязанность уже поделена, как волшебная палочка, между отцом и младшим братом.

Джеймс раздевается, натягивает кожаные бриджи и льняную рубашку. Разглядывает себя в зеркале. Высокий не по годам, с тонкой костью, кожа словно отполирована солнцем. Как загадочен его вид, какое молчаливое и понимающее у него лицо. Иногда ему кажется, что это лицо заговорит с ним и откроет ему секреты, удивительные секреты. Он всматривается в него до головокружения.

На лестнице слышится топот и грохот деревянных подошв, потом голоса Дженни Скерль и матери, которые смеются и жуют друг друга. Он выходит на узкую лестничную площадку. У Дженни Скерль лицо круглое и бледное, как разрезанное пополам яблоко. Она уже изрядно выпила, и вид мальчика, кажется, затронул нежную струну в ее сердце. Наклонившись, она со вкусом целует его в щеку.

- Теперь ступай, Джем, - говорит Элизабет.

* * *

Шум свадьбы в саду уже чересчур громок. За длинным столом, покрытым белой скатертью, сидят гости, едят и пьют то, что выставил Джошуа Дайер. Сам Джошуа, втиснувшийся в платье, которое надевал на собственную свадьбу, сидит рядом с вдовой Скерль, тощей, нервной женщиной в огромной некрасивой шляпе, поля которой задевают нос пастора всякий раз, как она поворачивается к нему с разговором. Но пастор едва ли это замечает. Потев, он рассказывает историю, которую никто, однако, не слушает. В траве рядом с ним поблескивает пустая бутылка из-под портвейна. Рядом с пастором, словно непроницаемая грозная туча, сидит вдова Дайер. Далее Боб Кетч с сестрой Амельдой. Та разглядывает что-то, лежащее на ладони у незнакомца, и кивает разгоряченной милой головкой. Под столом собака, черная, с толстой шеей, подбирает брошенные под ноги гостей объедки.

Кажется, урожай на этот раз снова выдался неплохой. Джошуа, упиваясь взятой на себя ролью посаженного отца Дженни, родитель которой погиб в море, позаботился о том, чтобы еды хватило на всех. Завидев Джеймса, он подзывает мальчика, неловким движением подтаскивает к себе и сажает на колени. Пошатываясь, с широкой блуждающей улыбкой на лице, молодая идет к своему месту. Вдова Скерль, сверкая деснами, отдирает кусок белого куриного мяса и сует в рот мальчику. Он держит его на языке, пока Джошуа не берется за нож, чтобы что-то отрезать. Тогда он соскальзывает с колен отца, исчезает под ближайшими деревьями и выплевывает мясо в траву.

* * *

Он петляет между рядами фруктовых деревьев, постепенно приближаясь к самому высокому дереву в саду – старой вишне. Сняв курточку, он обходит вокруг ствола, пока не обнаруживает нарост на коре, о который можно опереться ногой. Тянется вверх, пачкая манишку лишайником, когда пытается ухватиться за самую нижнюю ветку, потом закидывает ноги, переворачивается всем корпусом и оказывается лежащим на ветке, будто сонный кот. Садится, находит другую ветку, до которой легко дотянуться, и прикидывает, как ему сподручнее будет перелезть с одной ветки на другую, словно по винтовой лестнице. По мере его приближения таскающие ягоды птицы вспархивают и разлетаются в разные стороны. То и дело он останавливается в жаркой тени, чтобы съесть ягоду, а потом выплюнуть косточку и смотреть, как она будет отскакивать от веток вниз. Тут-то он и замечает под деревом темные очертания какого-то зверя. И зверь в ту же секунду замечает его, поднимает мордочку и жадно всматривается. Джеймс лезет выше, уже осторожнее, ибо сучья начинают гнуться под тяжестью его тела. Листва редет, и вдруг из переплетения тоненьких веточек его голова высовывается прямо в небо, словно мальчик только что вылупился из нефритового яйца; нос его чует свежий ветерок, а глаза щурятся от солнца.

Он встает поудобнее, осматривается. Крепость на холме, ферма Моды, церковь, вересковые поля. Он поворачивается еще и еще, пока не натывается взглядом на ослепительно белое полотнище стола, за которым продолжают пировать гости, правда, некоторые обступили Амельду Кетч, она отстегнула свою косынку, а Элизабет, словно веером, Амельду обмахивает. Джошуа и пастор чокаются кружками, провозглашая тосты за партию тори. Сара и Чарльз дразнят собаку, то выбегая из-за деревьев, то прячась назад, а пес упорно преследует их большими скачками. Кто-то требует танцев, и старик, что играл у реки в тот жуткий мороз, скрюченный, точно древесный корень, исторгает из своей скрипки долгий дрожащий звук. Жених, обнявшись с осипшей невестой, ведет за собой танцующих. Постепенно к ним присоединяются остальные – идут в танце по кругу, изображают ручеек, подпрыгивают и кружатся. Даже вдова Скерль приплясывает, держась за свою рюмку, словно маленький, движимый неведомой силой диванчик.

Музыка стихает; танцоры, запыхавшись, хлопают друг другу и готовятся к следующему танцу, но в этот момент Лиза, застась от солнца рукой, указывает куда-то и зовет Элизабет, та кричит что-то Джошуа, который, внимательно присмотревшись, орет:

– Слезай оттуда, Джеймс! Боже, куда тебя занесло!

Джеймсу кажется, что он на невероятной высоте, невероятно далеко от всех, и ему даже трудно поверить, что именно на него указывают пальцами люди внизу, машут руками, делают странные резкие движения сверху вниз, словно обтесывают в воздухе несуществующий камень. Он ступает выше, в середину расходящихся рогаткой тонких веток. Люди машут сильнее. Джошуа кричит так, словно вдали грохочет пушечная канонада. Джеймс наклоняется вниз. Крики стихают. Даже руки людей застывают в воздухе. Кажется, стоит сделать один только шаг – и сразу взлетишь. Он отводит в стороны руки, смотрит во все концы света. Вес мальчика на какую-то малюсенькую толику превышает допустимый предел, и вот он уже летит – поразительно быстро – в зеленое небо, а после – ничего. Ничего, кроме воспоминания об этом полете, слабого и угасающего, и железный привкус крови во рту.

9

– Ну как ты, Джем?

Все столпились в маленькой комнате у коридора, где раньше лежала больная вдова Дайер. В комнате по сию пору держится ее запах, смешанный с запахом лекарств, что Джеймс приносил из Медердича. Огромный, как туча, Амос Гейт склоняется над распростертым мальчиком и, хмурясь, рассматривает его ногу. Стопа болтается, точно спустившийся чулок; можно стянуть ее голыми руками. Амос поворачивается и обращается к присутствующим:

– Те, которым тут делать нечего, уходите. Это вам не на драку глазеть.

Люди уходят, оглядываясь назад с потрясенным видом, какой бывает у тех, кто протрезвел слишком быстро. Остаются Джошуа, Элизабет, Амос и незнакомец.

– Марли Гаммер, – представляется незнакомец. – Весь к вашим услугам, сударыня. Имею некоторый опыт в хирургическом деле.

Амос кладет руку на плечо Джошуа:

– Вам с хозяйкой тоже бы лучше уйти. Мне будет сподручнее с мистером Гамли.

– Гаммер, сударь, Марли Гаммер.

Джошуа смотрит на жену, которая сидит на краю кровати. Несколько секунд она вглядывается мальчику в лицо, потом целует его в лоб.

– Он у нас смелый, – говорит она. – Вот увидите, какой он смелый.

* * *

Когда Джошуа и Элизабет выходят, двое мужчин раздеваются, Амос – до последней рубашки, Гаммер – до изысканного, хоть и полинялого, жилета в сине-зеленых тонах. Стоя по обе стороны кровати, они спешно устраивают консультацию. Несколько раз кузнец просит мальчика лежать спокойно. И Гаммер замечает, что именно так тот и делает – лежит на удивление спокойно.

Своими грубыми пальцами Гаммер ощупывает место перелома. Ему приходилось вправлять кости, наверное, раз двадцать за свою жизнь. Но никогда он не встречал такого перелома. Чем дольше откладывать, тем меньше надежды спасти ногу. Быть может, уже и сейчас слишком поздно.

– Дурное это дело, по деревьям лазить, а, Джем?

– Конечно, – подхватывает Гаммер. – Но главная-то дурь не в том, чтоб лазить, а в том, чтоб падать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<http://www.litres.ru/endru-miller/zhazhda-boli/?lfrom=201227127>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

Поссет – горячий напиток из молока, сахара и пряностей, створоженный вином. – Здесь и далее примеч. переводчика.

2

Аллестри, Ричард (1619–1681) – английский богослов, проповедник и философ, автор религиозных трактатов.

3

Тиллотсон, Джон (1630–1694) – английский богослов.

4

Медицинскую науку (лат.).

5

Выдающийся член братства английских врачей (фр.).

6

Вполголоса (ит.).

7

Под конец (лат.).

8

29 сентября.

9

Вышивка мелкими стежками (фр.).

10

Деттинген – место на р. Майн (сейчас – территория Германии), где во время «войны за австрийское наследство» (1740–1748) в 1743 г. англичане под командованием Георга II разбили французов.

11

Фонтенуа – селение в Бельгии (пров. Зап. Фландрия), в районе которого 11 мая 1745 г. во время «войны за австрийское наследство» произошло сражение французской армии с англо-голландско-ганноверскими войсками. Французские войска одержали победу, потеряв около 6 тыс. человек, союзники же потеряли до 14 тыс.

12

Каллоден – местность в Шотландии, где в 1745 г. произошло сражение, закончившееся поражением сторонников династии Стюартов и положившее конец их попыткам вернуть трон.

Купить: <https://telnovel.com/endryu-miller/zhazhda-boli-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)